





Артур КОНАН ДОЙЛ



СЭР НАЙДЖЕЛ

•
БЕЛЫЙ ОТРЯД

•
ПОДВИГИ
БРИГАДИРА ЖЕРАРА

•
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРИГАДИРА ЖЕРАРА

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2018

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)
Д62

Серия основана в 2007 году

Перевод с английского

Иллюстрации

У. Уоллена, С. Пэйджета, Г. Холидэя, А. Твидла, Н. Уайета,
Д. Бардуэлла

Дойл, Артур Конан

Д62 Сэр Найджел. Белый отряд. Подвиги бригадира Жерара. Приключения бригадира Жерара / Пер. с англ. Полное иллюстрированное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1051 с.: ил. — (Полное иллюстрированное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2606-5

В одном томе публикуются самые известные исторические произведения знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла — «Сэр Найджел», «Белый отряд», «Подвиги бригадира Жерара» и «Приключения бригадира Жерара» с 282 иллюстрациями известных художников У. Уоллена, С. Пэйджета, А. Твидла и других.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018
© Н. Тренева. Наследники, 2018
© Е. Корнеева. Наследники, 2018
© А. Ставиская. Наследники, 2018
© В. Станевич. Наследники, 2018
© В. Хинкис. Наследники, 2018

ISBN 978-5-9922-2606-5

СЭР НАЙДЖЕЛ



Глава I

ДОМ ЛОРИНГОВ

В июле 1348 года, между днями святого Бенедикта и святого Свистина, Англию поразило странное бедствие: на востоке вдруг появилась безобразная зловещая багровая туча и стала медленными клубами наползать на притихшее небо. В тени этой невиданной тучи увядала листва, замолкали птицы, а коровы и овцы жались к изгородям. На землю пала тьма, люди молча стояли, вперив глаза в тучу, и сердца их наливались тяжестью. Народ с трепетом собирался в церквах, и там дрожащую толпу исповедовали и благословляли такие же дрожащие священники. А за стенами церкви больше не порхали птицы, не слышалось лесных шорохов и обыденного многоголосья природы. Все заглохло и застыло, одна только огромная туча ползла, как чудовищный вал, над черным горизонтом. На западе еще виднелось ясное небо, с востока же неспешно надвигалась эта облачная громада, пока наконец не исчез последний голубой просвет и весь небосвод не превратился в сплошной свинцово-серый купол.

Потом начался дождь. Он лил весь день и всю ночь, лил целую неделю и целый месяц, пока люди не позабыли, что такое синее небо и солнечный свет. Дождь был не сильный, но холодный и лил, не переставая ни на миг. Людей изводил его непрестанный шорох и плеск струй, стекающих с кровли. И все время по небу, сея влагу, ползла с востока на запад эта разбухшая зловещая туча. Сквозь водную пелену, гонимую ветром, ничего нельзя было разглядеть уже в двух шагах от жилья. По утрам все первым делом задирали голову — не появится ли где просвет, но взгляд встречал все ту же бесконечную тучу, и тогда люди перестали смотреть на небо и сердца их переполнились отчаянием, оттого что всему этому не было конца. Дождь шел и на святого Петра, и на Рождество Богородицы, и в Михайлов день. Хлеба и сено промокли, почернели и погнили прямо на полях, потому что убирать их не стоило труда. Потом пали овцы и телята, и к святому Мартину на убой и зимнюю засолку не осталось почти никакой скотины. Народ боялся грядущего голода. Но то, что ожидало его, было куда страшнее.

Дождь наконец перестал, и хилые лучи осеннего солнца осветили вязкую жижу, в которую превратилась земля. Мокрые листья гнили, испуская зловоние, под пологом мерзостного тумана, поднявшегося



Люди молча стояли, вперив глаза в тучу...

над лесом. На полях выросли огромные грибы — раньше таких никто не видывал. Багрово-лиловые, коричневые и черные, они были столь отвратительны, что казалось, на теле большой земли высыпали гнойные прыщи. Стены домов сплошь покрывались плесенью и лишайником. И сразу вслед за этой чудовищной порослью на раскисшей земле вошла Смерть. Люди стали умирать: мужчины, женщины и дети, бароны в своих замках и вольные крестьяне на своих подворьях, монахи в монастырях и крепостные в лачугах. Все вдыхали одни и те же гнилостные испарения, и все умирали одной и той же смертью — заживо разлагаясь. Никто из пораженных этой болезнью не выздоравливал. Болели все одинаково: на теле появлялись огромные нарывы, человек впадал в бред, кожа его покрывалась черными пятнами: от них-то и пошло название болезни — черная смерть. Всю зиму разлагающиеся трупы лежали на обочинах дорог, хоронить их было некому. Во многих деревнях не осталось ни души. Но вот пришла весна, а с ней солнце, здоровье и радость. Это была самая зеленая, самая прекрасная и ласковая весна, которую когда-либо знала Англия. Но увидела ее только половина жителей страны — другую половину смела с лица земли та огромная багровая туча.

И все же именно в это время, в мутном потоке смертей, в гнилостных испарениях, рождалась новая Англия, поистине прекрасная и более свободная.

В час безысходности вдруг забрезжил проблеск зари: только такое страшное потрясение, разом изменившее всю жизнь, могло вырвать народ из железных цепей феодализма, сковавших его по рукам и ногам. Из смертного мрака выходила новая страна.

Под косой смерти полегли, как скошенная трава, бароны. Уберечь от этой угрюмой простолоудинки, разившей всех без разбора, не могли ни высокие башни, ни глубокие рвы. Деспотические порядки смягчились, ужесточаться они уже больше не могли. Земледелец не желал дальше оставаться рабом. Он сбросил оковы. Дел было слишком много, а людей слишком мало. Поэтому тем немногим, кто остался в живых, предопределено было стать свободными: свободно продавать свой труд, наниматься к кому пожелают. И именно черная смерть расчистила путь для великого восстания¹, которое началось тридцать лет спустя и сделало английского крестьянина самым свободным крестьянином в Европе.

Но таких, кто смотрел далеко в будущее и видел, что из зла, как это всегда бывает, произрастет добро, было очень мало. Покамест же в каждой семье царили нищета и горе. В одночасье иссякли все источники благоденствия: пал скот, погиб урожай, земли лежали непаханные. Богачи стали бедняками, а те, кто и раньше был беден, особенно бедняки из благородных, оказались и вовсе в безвыходном положении. По всей Англии разорилось мелкое дворянство, которое не знало

¹ Крестьянское восстание 1381 года под предводительством Уота Тайлера. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

иного ремесла, кроме войны, и потому жило за счет чужого труда. Для многих поместий наступили черные дни, но хуже всего пришлось поместью Тилфорд, находившемуся во владении уже нескольких поколений благородного семейства Лорингов.

В былые времена Лорингам принадлежали все земли от Северных холмов до Френшемских озер, а их мрачный замок, вздымавшийся над зелеными лугами на берегах реки Уэй, считался самой неприступной крепостью меж Гилдфордом на востоке и Уинчестером на западе. Но разразилась война баронов¹, король использовал своих саксонских подданных как кнут для укрощения норманнских баронов, и замок Лорингов, подобно многим другим, был стерт с лица земли. С той поры Лоринги, потеряв большую часть своих поместий, жили на положении вдовы, имея самое необходимое, но лишенные былой роскоши.

Потом началась их тяжба с Уэверлийским аббатством, когда цистерцианцы² предъявили притязания на их лучшие земли и феодальные владения. Великая тяжба длилась много лет, а когда кончилась, богатейшее поместье поделили между собой церковники и законники. Но старый господский дом сохранился, и в каждом поколении его обитателей рождался воин, с честью носивший свое имя: пять алых роз на его серебряном щите всегда были там, где им и надлежало быть, — в переднем строю. В часовенке, где отец Мэтью каждое утро служил мессу, было двенадцать надгробий — двенадцать бронзовых фигур воинов из рода Лорингов. Двое лежали скрестив ноги, как положено крестonosцам. Шестеро попирали ногами львов — они пали в битве. И только возле четверых были изображения их собак — в знак того, что они почили в мире.

Из всего этого славного, но разоренного рода, разоренного дважды — правосудием и чумой, в 1349 году в живых оставалось только два человека: леди Эрментруда Лоринг и ее внук Найджел. Муж леди Эрментруды пал от руки шотландского копейщика в битве при Стерлинге, а сын ее Юстас, отец Найджела, умер славной смертью за девять лет до начала нашего повествования на борту норманнской галеры в битве при Слэйсе³ у прибрежного тогда города Сленга (нынешние Нидерланды). Одинокая старая леди, ожесточившаяся и погруженная в скорбь, сидела, как сокол в клетке, у себя в комнате и снисходительна была только к мальчику, которого она вырастила. Дарованные ей природой любовь и нежность, так глубоко упрященные от постороннего глаза, что никто не мог даже заподозрить в ней подобных чувств, изливались на Найджела. Она не отпускала его от себя, а он, исполнен-

¹ Восстание англо-французских феодалов под предводительством Симона де Монфора-младшего в 60-х годах XIII века против короля Англии Генриха III (1227—1272), окончившееся поражением последнего при Льюисе 24 июня 1265 года.

² Монашеский орден, ветвь бенедиктинского ордена. В основу монашеской жизни легло строгое исполнение бенедиктинского устава.

³ Б и т в а п р и С л ё й с е — победа английского флота над французским в 1330 году при короле Эдуарде III (1327—1377).



*Найджел влачил тоскливые дни в поместье,
натаскивая соколов и собак...*

ный уважения к старшим, как того требовали обычаи времени, никуда не отлучался, не получив ее согласия и благословения.

Поэтому Найджел, в груди у которого было львиное сердце, а в жилах бурлила кровь многих поколений воинов, в свои двадцать два года все еще влачил тоскливые дни в поместье, натаскивая соколов и собак, живших со своими хозяевами под одной крышей. Старая леди Эрментруда видела, что день ото дня внук мужает и набирается силы и, хотя он не вышел ростом, мышцы его тверды как сталь, а душа пылает огнем. Со всех сторон — и от гиллфордского кастеляна, и с фарнемского турнирного поля — до нее доходили толки о его дерзкой удали и смелости, о том, как он бесстрашен в скачке и как мастерски владеет оружием. И все же она, потерявшая мужа и сына, не могла смириться с мыслью, что и этот мальчик, единственный потомок Лорингов, последний отпрыск такого славного старого дерева, разделит их участь. Скрепя сердце, но с улыбкой на устах нес он бремя своей монотонной жизни, меж тем как старая леди под разными предложениями оттягивала страшный тиг разлуки: то до той поры, пока урожаи не станут богаче, то пока монахи из Уэверли не вернут им отнятые земли, то пока не умрет его дядя и не оставит ему денег на снаряжение, словом, под любым предлогом, какой мог удержать внука возле нее.

И правду сказать, Тилфорду никак было не обойтись без мужчины, потому что распри с аббатством так и не прекращались, и монахи до сих пор пытались отхватить то один, то другой кусок земли своих соседей. Над излучиной реки, за зелеными лугами поднималась приземистая квадратная башня и крепкие серые стены мрачного монастыря. Колокола его не умолкали ни днем ни ночью, грозя маленькой семье новыми бедами.

В сердце этого огромного цистерцианского монастыря и зародилась наша хроника, повествующая о распре между монахами и домом Лорингов со всеми последующими событиями, вплоть до прибытия Чандоса, о пресловутой схватке копейщиков на Тилфордском мосту и о подвигах, которые принесли Найджелу воинскую славу...

Давайте вернемся вместе в прошлое и взглянем на зеленую сцену Англии. Декорации на ней те же, что и в наше время: холмы, равнины и реки; актеры же, хотя во многом тоже похожи на нас, но многим и отличаются — мысли, поступки у них иные, и кажутся они обитателями не нашего мира.

Глава II

КАК УЭВЕРЛИ ПОСЕТИЛ ДЬЯВОЛ

Было первое мая, праздник святых апостолов Филиппа и Иакова. Шел 1349 год со дня пришествия Спасителя.

Время с девяти часов до полудня, а потом с трех до шести преподобный отец Джон, настоятель аббатства Уэверли, проводил у себя в



*Монахи медленно ходили парами по кругу,
низко опустив голову.*

покоях, занимаясь соответственно своему высокому званию многочисленными важными делами. На много миль во все стороны простирались тучные земли процветающего монастыря, и он был их повластным хозяином. А в центре владений поднимались монастырские здания: церковь, кельи, странноприимный дом, зал капитула и

трапезная, и повсюду кипела жизнь. Сквозь открытое окно слышались приглушенные голоса братьев, которые прогуливались внизу под аркадами, ведя благочестивые беседы. С другой стороны внутреннего двора, то усиливаясь, то затухая, доносились духовные песнопения — там регент старательно занимался с хором, а в зале капитула брат Петр скрипучим голосом втолковывал послушникам устав святого Бернарда.

Аббат Джон встал и потянулся. Потом выглянул наружу и осмотрел зеленую лужайку и изящные ряды готических арок крытой галереи, по которой в черно-белых одеждах прогуливалась братия. Монахи медленно ходили парами по кругу, низко опустив голову. Несколько человек, кто поусерднее, вынесли из библиотеки фолианты и сидели на солнце, разложив перед собой дощечки с красками и стопки тонких, полупрозрачных листков золота. Сутуля плечи, они склонялись над белым пергаментом. Там же сидел и гравер на меди со своими резцами. Правда, в отличие от основного ордена бенедиктинцев, занятия искусствами и науками не были в обычае цистерцианцев, но вся библиотека Уэверли хранила много драгоценных манускриптов, которыми занимались благочестивые ученые братья.

Славились, однако, цистерцианцы не учеными трудами, а земледельчеством. По монастырскому двору то и дело проходили монахи с выпачканными в земле мотыгами и лопатами, в рясах, подоткнутых до самых колен, загорелые, только-только с полей или из садов. Тучные длиннорунные овцы на буйной зелени заливных лугов, пашни, отвоеванные у вересковых пустошей и зарослей папоротника, виноградники, спускавшиеся с южного склона Круксберийского холма, рыбные садки в Хэнкли, огороды на осушенных Френшемских болотах, просторные голубятни — вот что окружало огромный монастырь и без слов говорило об упорных, тяжелых трудах ордена.

На полном румянном лице аббата заиграла довольная улыбка, когда он обвел взглядом свое обширное, но прекрасно налаженное хозяйство. Как и всякий глава процветающего монастыря, преподобный Джон — уже четвертый настоятель, носивший это имя, — был человеком разносторонне образованным. При помощи им самим изобретенных методов ему приходилось управлять немалым хозяйством, а заодно поддерживать порядок и благочиние среди большого сообщества людей, давших обет безбрачия. От тех, кто стоял ступенью ниже, он требовал жесткой дисциплины, в сношениях со стоявшими выше был тонким дипломатом. Он вступал в ожесточенные споры с соседними монастырями и лордами, с епископами и папскими легатами, а при случае и с самим его величеством королем. Положение обязывало его быть сведущим и разрешать самые разные споры, касающиеся самых разных вещей: философии и лесного хозяйства, земледелия, осушения болот, феодальных законов. В его руках были весы правосудия всей округи, простиравшейся на много-

много миль — от Гэмпшира до Суррея. Гнев его грозил монахам постом, ссылкой в обитель с более суровыми порядками и даже заточением в оковы. Мирян он тоже мог подвергать всяким наказаниям, кроме смертной казни; впрочем, в руках у него было оружие пострашнее — отлучение от церкви.

Вот такой властью наделен был аббат, и неудивительно, что на румяном лице его лежал отпечаток этой власти, а братия, перехватив его внимательный взгляд из окна покоев, спешила принять еще более смиренный и благочестивый вид.

Стук в дверь вернул настоятеля к текущим делам, и он снова сел за стол. Он уже переговорил обо всем с экономом, приором, раздавателем милостыни, капелланом и чтецом, а теперь в высоком худом монахе, который, повинуясь его жесту, вошел в покои, он узнал самого важного и самого изворотливого из своих доверенных лиц, брата Сэмюэла, ризничего, который, подобно управляющему светским поместьем, смотрел за монастырским имуществом, вел дела с внешним миром и отчитывался только перед аббатом. Брат Сэмюэл был сух, жилист и стар, суровые резкие черты его лица не одухотворялись светом свыше и отражали лишь тот низменный, будничный мир, что был его уделом. Под мышкой он держал толстую счетную книгу, в свободной руке болталась большая связка ключей, знак его должности, а также, под горячую руку, и орудие расправы, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы на головах крестьян и братьев-мирян.

Настоятель тяжело вздохнул: усердный брат доставлял ему немало хлопот.

— Ну, брат Сэмюэл, в чем дело?

— Святой отец, я пришел доложить, что продал шерсть господину Болдуину из Уинчестера на два шиллинга за тюк дороже, чем в прошлом году. Цены-то на шерсть после овечьего мора поднялись.

— Хорошо сделал, брат.

— Еще вот что: я выкинул Уота, арендатора, из его халупы, потому что он с самого Рождества ничего не платит да налог на кур за прошлый год еще не внес.

— Но, брат, ведь у него жена и четверо детей.

Настоятель был добр и мягок. Впрочем, он довольно легко уступал своему суровому подчиненному.

— Так-то оно так, святой отец, да только если я ему спущу, то как же мне стребовать налог с патнемских лесников или с деревенских крестьян? Такие слухи разлетаются быстро. И что тогда станет с богатствами Уэверли?

— Что еще, брат Сэмюэл?

— Еще садки.

Лицо у настоятеля просветлело. В этом деле он был знатоком. Провила ордена отняли у него более нежные услады жизни, с тем большим жаром он отдавался радостям дозволенным.

— Как там хариусы, брат мой?

— Прекрасно, святой отец. Да вот в аббатском садке стали пропадать карпы.

— Карп хорошо себя чувствует только в пруду с песчаным дном. И запустать его в садок надо умеючи — три самца на одну самку с икрой, брат ризничий. Садок должен быть в локоть глубиной, дно каменистое, с песком, а по берегу — ивы и трава. И чтобы там не продувало. Линь любит ил, а карп — песок.

Тут ризничий подался вперед с видом человека, принесшего дурные вести.

— В аббатском садке завелись щуки.

— Щуки! — в ужасе воскликнул настоятель. — Это все равно что волки в овчарне. Откуда взялись в пруду щуки? В прошлом году не было никаких щук, а ведь щуки не выпадают с дождями и не бьют из ключей. Пруд надо спустить, иначе в Великий пост нам придется есть одну вяленую треску, и все начнут болеть до самого Светлого воскресенья, пока оно не разрешит нас от воздержания.

— Пруд непременно спустят, святой отец, я уже распорядился. В ил мы посадим зелень, а когда уберем ее, снова пустим воду и рыбу из нижнего садка, пусть жирует на стерне.

— Очень хорошо! — воскликнул настоятель. — Я бы в каждом хорошем хозяйстве имел по три садка: один без воды, один мелкий для мальков и сеголеток и один глубокий для взрослой и предназначенной для стола рыбы. Но все же, как щуки попали в аббатский садок?

Лицо ризничего искажилось от злости, и ключи, которые он с силой сжал в костлявой руке, загремели.

— Это все молодой Найджел Лоринг! — сказал он. — Он пообещал навредить нам, вот и выполнил свое обещание.

— Откуда ты знаешь?

— Полтора месяца назад видели, как он каждый день ловил щук на большом Френшемском озере, а два раза его встречали ночью с охапкой соломы в руках у Хэнклийского холма, и я уверен, что солома у него была мокрая, а в ней лежали живые щуки.

— Я слышан о его выходках, — покачал головой аббат, — но теперь, если все, что ты сказал, правда, они перешли все границы. Ведь это он, по слухам, застрелил королевского оленя в Вулмер-Чейз, и одно это уже непростительно. А потом еще проломил голову этому борцу Хоббсу, и тот неделю пролежал у нас в лазарете, находясь между жизнью и смертью. И спасло его только то, что брат Петр — искусный травник. Но напустить щук в аббатский садок — что за дьявольская затея!

— Он ненавидит наш монастырь, святой отец. Он говорит, что мы захватили земли его отца.

— Ну, в этом есть доля правды.

— Но, святой отец, мы взяли только то, что дал нам закон.



*...и один из монахов с побелевшим от ужаса лицом
распахнул дверь и ввалился в комнату.*

— Твоя правда, брат, но все же, между нами говоря, надо признать-ся, что полный кошелек часто перетягивает весы правосудия. Когда мне случается проходить мимо старого дома и видеть эту краснолицую старуху с недобрый взглядом, источающим проклятия, которые она не осмеливается произнести, мне всякий раз хочется, чтобы у нас были какие-нибудь другие соседи.

— Это легко сделать. Об этом я и шел поговорить с вами. Нам ничего не стоит согнать их с места. Недоимки скопились у них за добрых тридцать лет, а в Гилдфорде есть стряпчий Уилкинз, который вчинит им такой иск, что этим нищим гордецам придется продать крышу над головой, чтобы заплатить все сполна. Через три дня они будут у нас в кулаке.

— Я не хотел бы обойтись с ними слишком жестоко. Это славный старинный род.

— Вспомните о щуке среди карпов.

При этой мысли сердце аббата исполнилось твердости.

— Да уж, и впрямь дьявольская выходка. А мы только-только пересадили туда новую молодежь. Ну что ж, закон есть закон. И даже если он несет в себе горе, все равно он закон. Иски уже предъявлены?

— Стряпчий со своими людьми ходил туда вчера, да этот ярый юнец набросился на него и гнал до самого Гилдфорда. Парень мал ростом да щуплый на вид, но уж как разоидется, посильнее многих будет, законник божится, что шагу туда больше не сделает, разве что с полдюжиной лучников.

При известии о новом оскорблении лицо настоятеля вспыхнуло гневом.

— Я покажу ему, что слуги святой церкви, даже если это покорнейшие и смиреннейшие ее чада из ордена святого Бернарда, могут постоять за себя и дать отпор любому наглецу. Теперь ступай и вызови его на аббатский суд. Пусть завтра после трех явится в капитул.

Но осторожный ризничий покачал головой:

— Нет, святой отец, еще не подошло время. Дайте мне три дня, и все иски против него будут готовы. Нельзя забывать, что и отец, и дед этого дерзкого сквайра прославили себя подвигами и были первыми рыцарями на службе у самого короля. Они жили в чести и умерли, исполняя свой рыцарский долг. Нынешняя леди Эрментруда Лоринг была первой фрейлиной у матушки короля. Роджер Фиц-Аллен Фарнемский и сэр Хью Уолкотт из Гилдфордского замка сражались бок о бок с отцом Найджела и приходятся ему родней по материнской линии. И так уж говорят, что мы обошлись с ними жестоко. Вот я и думаю, что нам лучше быть поосторожнее и подождать, пока чаша его злодеяний не переполнится.

Настоятель открыл было рот, чтобы ответить, но их разговор был неожиданно прерван: снизу, от келий, донесся какой-то шум, а под аркадами слышались взволнованные выкрики монахов. От такого вопиющего нарушения приличий и порядка со стороны их послушных овец аббат и ризничий застыли, изумленно уставившись друг на друга, как вдруг на лестнице раздались торопливые шаги и один из монахов с побелевшим от ужаса лицом распахнул дверь и ввалился в комнату.

— Отец настоятель! — закричал он. — Горе нам, горе! Умер брат Джон! И святой помощник приора тоже умер! А на стоакровом поле гуляет дьявол!

Глава III

СОЛОВЬИЙ КОНЬ ИЗ КРУКСБЕРИ

В те незатейливые времена жизнь изобиловала чудесами и тайнами. Люди жили в страхе и священном трепете, чувствуя близость Неба у себя над головой и ада под ногами. Рука Божия выделась им во всем: в радуге и в комете, в громе и в молнии. Дьявол тоже в открытую неистовствовал по всей земле: в сумерках он прятался под изгородями, по ночам хохотал, вцеплялся в умирающего грешника, набрасывался на некрещеного ребенка и выкручивал руки и ноги эпилептику. Нечистый повсюду крался за своей жертвой и нашептывал ей всякие гадости, зато над нею все время парил и ангел-хранитель, указуя ей стезю спасения. Да и какие могли быть сомнения, если во все это веровали и папа, и священники, и сам король и нигде во всем мире еще не прозвучало ни единого вопроса?

Каждая прочитанная книга, увиденная картина, сказка, услышанная от матери или няньки, — все источники учили одному и тому же. А если кому случалось отправиться в путешествие по белу свету, его вера укреплялась еще более, потому что, куда бы ни заносила его судьба, он видел бесконечные гробницы с прахом святых, и каждая была окружена ореолом легенд о множестве чудес, доказательством которых служили кучи костей да серебряные сердца, выкованные по обету. Каждый поворот судьбы показывал человеку, как тонка завеса, отделяющая его от обитателей невидимого мира, и как легко ее порвать.

Поэтому ошеломляющее сообщение перепуганного монаха было воспринято присутствующими как нечто ужасное, но отнюдь не невозможное. Лицо аббата на миг побледнело, но он тут же вытащил из стола распятие и храбро вскочил на ноги.

— Веди меня к ним! — воскликнул он. — Покажи мне нечистого, который осмелился поднять руку на братию в святом монастыре! Сбегай вниз к капеллану, брат, и попроси его принести с собой все, что нужно для заклинания дьявола: и священный ларец с мошами, и кости святого Иакова из-под алтаря! Они помогут нашим смиренным кающимся сердцам повергнуть силы тьмы.

Однако у ризничего был более скептический склад ума. Он схватил монаха за руку и сжал ее так, что у того потом несколько дней не сходило пять синяков.

— Разве так входят в покои настоятеля? Почему ты не постучался, не поклонился, не сказал «*Rex vobiscum*»?¹ — сурово спросил он. — Ты же всегда был кротчайшим из послушников, смиренно набирался благочестивой мудрости, усердно пел псалмы, соблюдал себя в строгости. Соберись с мыслями и отвечай на мои вопросы. В каком образе явился нечистый и как он столь ужасно поразил наших братьев? Ты видел

¹ Мир вам (*лат.*).



— Если позволите, святой отец, и вы, досточтимый ризничий, дело было так.

его сам, своими глазами, или только повторяешь, что слышал? Да говори же, не то я немедленно поставлю тебя на покаяние.

От такой угрозы перепуганный монах, казалось, поуспокоился, однако побелевшие губы, затравленный взгляд и тяжелое дыхание выдавали его внутренний ужас.

— Если позволите, святой отец, и вы, досточтимый ризничий, дело было так. Сегодня с шести часов помощник приора Иаков, брат Джон и я резали в Хэнкли папоротник для коровников. Потом мы пошли домой стоакровым полем, и только святой помощник приора стал рассказывать одну историю из жизни святого Григория, как вдруг раз-

дался шум, словно начался ливень, нечистый перескочил через стену, что огораживает заливной луг, и как вихрь налетел на нас. Он повалил брата Джона на землю и затоптал его в грязь. Потом схватил зубами доброго помощника приора и стал бегать кругами по полю, тряся его, словно узел тряпья. Я совсем остолбенел и только твердил про себя одно «Верую» и три «Богородица, Дева», но тут дьявол бросил помощника приора и кинулся ко мне. Святой Бернад помог мне перелезть через стену, но дьявол успел вцепиться зубами мне в ногу и оторвать сзади весь подол рясы.

Сказав это, монах повернулся и подтвердил свои слова — со спины у него свисала располованная ткань его одеяния.

— Так в каком же образе предстал Сатана? — повторил настоятель.

— В образе огромного солового коня, святой отец, такого страшного коня с огненными глазами и зубами, как у грифона.

— Соловый конь! — и ризничий сверкнул глазами в сторону перепуганного монаха. — До чего ты глуп, брат! Что же ты станешь делать, когда тебе и впрямь придется встретиться лицом к лицу с Князем Тьмы, если тебя так напугал вид солового коня? Ведь это собственность фрэнкалина¹ Эйлварда, отец мой. Мы конфисковали животное за то, что Эйлвард задолжал монастырю добрых пятьдесят шиллингов, а денег ему взять неоткуда. Говорят, такого скакуна не найдешь ни в одной конюшне по всей округе, даже в Уиндзоре у короля. Он происходит от испанского боевого коня и арабской кобылы той линии, которую Саладин² вел только для себя, говорят даже, что он держал ее в собственном шатре. Я отобрал коня за долги и велел работникам, которые его привели, оставить его одного на заливном лугу — мне говорили, что эта тварь в самом деле уж очень норовиста и что от нее пострадал не один человек.

— В черный день привел ты это чудовище в монастырь, — сказал настоятель. — Если помощник приора и брат Джон действительно погибли, то конь этот хоть и не сам дьявол, но уж верно орудие дьявола.

— Конь он, дьявол ли, только я слышал, как он визжал от удовольствия, когда топтал брата Джона. А если бы вы видели, как он трепал помощника приора, словно собака крысу, — вы бы, верно, почувствовали то же, что и я.

— Ну пойдем и посмотрим собственными глазами, каких он натворил бед, — сказал настоятель.

И трое монахов стали быстро спускаться по лестнице, ведущей к кельям.

¹ Ф р э н к л и н — свободный крестьянин.

² С а л а д и н — получившая распространение в Западной Европе форма имени Салах-ад-дина (1138—1193), султана Египта в 1171—1193 годах, курда, основателя династии Эйюбидов, который успешно боролся с крестоносцами в Палестине.

Не успели они ступить на землю, как худшие их опасения рассеялись: в это самое мгновение в участливо глядящей толпе братьев показались два страдальца. Они хромали, ясы их были порваны и перепачканы грязью. Однако крики и вопли, доносившиеся снаружи, говорили, что где-то за оградой разыгрывается новая драма. Аббат и ризничий поспешили вперед так быстро, насколько это позволяла необходимость блюсти достоинство сана, пока не вышли за ворота и не оказались возле стены, отгораживающей луг. Взглянув поверх нее, они стали свидетелями необычайного зрелища.

На лугу, по щиколотку в густой траве, стоял великолепный конь, при виде которого затрепетало бы сердце воина или ваятеля. Конь был желтой, соловой масти, но с гривой и хвостом не светлого, а рыже-коричневого окраса. Семнадцати пядей ростом, с корпусом и задними ногами, которые говорили о невероятной силе, с изысканными линиями шеи, холки и плеч, он являл собой изумительный образец породы. Конь был поистине прекрасен. Он стоял, осев на широко расставленные задние ноги, высоко подняв голову на гордо откинутой шее, уши его стояли торчком, грива вздыбилась, ноздри трепетали от ярости, глазами он горзно, с высокомерным вызовом, поводил из стороны в сторону.

На почтительном расстоянии, взяв его в кольцо, к нему подбирались шестеро монастырских крестьян и лесников с веревками наготове. Время от времени огромное животное, ошерив зубы, с развевающейся гривой и гордо поднятой головой, великолепным броском отворачивалось то к одному, то к другому преследователю и с громким ржанием гнало его к спасительной стене. Тогда остальные забегали сзади, безуспешно пытаясь набросить веревки коню на ноги или на голову, но всякий раз тоже отступали в ближайшее укрытие.

Если бы им удалось заарканить красавца хотя бы двумя веревками, если бы на лугу было что-нибудь, за что можно было бы закрепить их концы — пень или валун, — человеческий разум, пожалуй, и одолел бы силу и стремительность животного. Но если разум полагал, что с помощью веревок нельзя добиться ничего, кроме как подвергнуть опасности того, кто ими размахивал, то разум глубоко заблуждался.

То, что легко было предвидеть, случилось как раз в минуту, когда монахи прибыли к месту происшествия. Конь, загнав одного из нападающих за стену, остановился, храпом изливая на него поверх стены свое презрение, и дал возможность остальным подобраться к нему с тыла. В воздухе взвилось несколько веревок, и одна обвилась вокруг гордой шеи, утонув в косматой гриве. В одно мгновение животное обернулось, и люди, спасаясь, бросились врассыпную, но лесник, набросивший аркан, замешкался, не зная, как ему лучше воспользоваться своим успехом. Миг нерешительности стал роковым. В ужасе он увидел над собой животное, вставшее на дыбы. И тут же конь, с грохо-

том обрушив на него копыта, одним движением швырнул его наземь. Лесник с криком вскочил, но снова был сбит с ног и замер, весь дрожа, с окровавленной головой, а дикая лошадь — в ярости самое жестокое и страшное существо на свете — кусала, трепала и лягала извивающееся тело человека.

За высокой стеной в рядах увенчанных тонзурами голов раздался громкий вопль, но тут же замер и сменился долгим безмолвием, пока, наконец, его не нарушили восторженные крики благодарения и радости.

По дороге к старому, потемневшему от времени господскому дому по склону холма ехал юноша. Он сидел на тощей, неуклюжей, косматой лошадке ростом с жеребенка. На нем был старый, залатанный камзол, когда-то алый, а теперь весь выгоревший, перепоясанный засаленным кожаным поясом, — жалкий наряд. Однако осанка, посадка головы, изящные движения и смелый, открытый взгляд голубых глаз — все говорило о его благородном происхождении и позволило бы ему занять достойное место в любом обществе. Ростом юноша был невелик, но сложен удивительно изящно. Хотя кожа на его лице покрылась загаром и огрубела, черты были тонки и выразительны, знак духа живого и горячего. Густые русые кудри выбивались из-под плоской шляпы, золотистая бородка скрывала крепкий квадратный подбородок. Его мрачноватую одежду оживляло лишь перо скопы, приколотое к шляпе золотой пряжкой. От внимания стороннего наблюдателя не ускользнуло бы ни это перо, ни другие мелочи в его облике — короткая, ниспадающая складками накидка, охотничий нож в кожаных ножнах, перевязь, на которой висел бронзовый рог, мягкие сапоги из оленьей кожи и острые шпоры. Однако память сохранила бы не это, а его загорелое лицо в золотистом ореоле и живые, искрящиеся отвагой веселые голубые глаза.

Вот такой молодой человек скакал в сопровождении полудюжины собак, весело помахивая хлыстом, на своем неказистом пони по Тилфордской дороге. Оттуда он и увидел комедию, разыгравшуюся на монастырском лугу, и тщетные усилия уэверлийских служителей. На губах его появилась презрительная усмешка. Однако он тут же понял, что комедия превращается в кровавую драму, и в одно мгновение из безучастного зрителя преобразился в стремительного могучего воина. В один прыжок он соскочил с лошади, другим перемахнул через каменную стену и бросился бежать по лугу. Отпустив на миг свою жертву, соловый конь заметил приближение нового врага, с презрением оттолкнул копытом распростертое на земле, все еще корчашееся тело и ринулся ему навстречу.

На этот раз враг не спасался бегством, не спешил укрыться за стеной. Небольшая фигурка остановилась, выпрямилась и металлическим концом хлыста нанесла коню сильнейший удар по голове. И так повторялось при каждом новом броске коня. Тщетно лошадь становилась на дыбы, пыталась повергнуть врага ударами плеч и копыт.



Небольшая фигурка остановилась, выпрямилась и металлическим концом хлыста нанесла коню сильнейший удар по голове.

Проворно, но спокойно тот увертывался от призрака смерти, и снова раздавался свист и стук тяжелой рукояти, без промаха наносившей новый удар.

Наконец конь отступился. Бешеным, но удивленным взором сверкнул он на непобедимого незнакомца и побежал рысью по кругу. Грива и хвост его развевались на ветру, уши стояли торчком, он храпел от боли и ярости. Молодой человек, едва удостоив взглядом своего свирепого соседа, подошел к раненому леснику, поднял его, обнаружив силу, которую никак нельзя было ожидать в таком щуплом теле, и отнес его к ограде. Добрая дюжина рук протянулась из-за стены ему на помощь. Он не спеша взобрался на стену и спокойно-презрительно улыбнулся соловому коню, который сделал последнюю яростную попытку напасть на него. Потом прыгнул на другую сторону, и его тотчас окружили монахи. Они благодарили и на все лады превозносили его. Он хотел было повернуться и уйти, не проронив ни слова, но тут к нему подошел сам аббат Джон.

— Нет-нет, сквайр Лоринг, не уходите. Хоть вы и недруг нашему монастырю, мы вынуждены признать, что сегодня вы поступили как истинный христианин. Ведь тем, что наш работник еще дышит, мы обязаны только вам... И конечно, нашему благословенному заступнику — святому Бернарду.

— Клянусь святым Павлом! — воскликнул молодой человек. — У меня нет к вам никаких добрых чувств, настоятель Джон. На земле Лорингов лежит тень вашего монастыря. А что до сегодняшней пустяковой услуги, так мне не нужна ваша благодарность. Я поступил так не ради вас и вашего монастыря, а лишь ради собственного удовольствия.

От этих дерзких слов настоятель вспыхнул и в досаде прикусил губу. Но тут вмешался ризничий:

— Было бы пристойней и благородней говорить со святым отцом аббатом уважительно, как того требует его высокое положение и почтение, на которое вправе рассчитывать князь церкви.

Юноша обратил на ризничего смелый взгляд голубых глаз, его загорелое лицо еще больше потемнело от гнева.

— Если бы не ваша ряса да седина в волосах, я поговорил бы с вами иначе. Вы, как тощий волк, рычите от жадности у нас под дверьми, чтобы заграбастать и то малое, что у нас осталось. Со мной вы можете говорить и делать что угодно, только, клянусь святым Павлом, если я узнаю, что ваша жадная стая досаждаст леди Эрментруде, я вот этим самым хлыстом выбью их всех с клочка земли, который один из всех и остался у нас из всего, чем владели наши предки.

— Полегче, Найджел Лоринг, полегче! — воскликнул настоятель, подняв вверх палец. — Вы что, не читаете английский закон?

— Я чту справедливый закон и повинуюсь ему.

— Разве вы не почитаете святую церковь?



*Вдруг удар хлыста
подбросил оружие
вверх...*

— Я почитаю все, что в ней есть святого. Но без всякого почтения отношусь к тем, кто выжимает последние соки из бедняков или крадет земли своих соседей.

— Не дерзите. Многих отлучали и не за такие слова. Впрочем, нам не следует сегодня строго судить вас. Вы молоды и горячи, и неподобающие слова легко срываются у вас с языка. Как там лесник?

— Ранен он тяжело, отец аббат, но жив

будет, — сказал один из монахов, оторвав глаза от распростертого тела. — Если пустить кровь да попоить травяными настоями, ручаясь, через месяц он будет на ногах.

— Тогда отнесите его в лазарет и подумаем, что нам делать с лошастью. Видите, эта тварь все еще таращит из-за стены глаза и храпит, словно поносит святую церковь, как сквайр Найджел.

— Тут пришел фрэнклин Эйлвард, — сказал один из братьев, — лошадь-то его, он, надо думать, и заберет ее.

Но крепкий краснощекий фермер отрицательно покачал головой:

— Ну уж нет! Эта зверюга дважды гоняла меня по всему выгону и чуть не убила моего Сэмкина. Парню так хотелось проехаться на ней, его и сейчас ничем не утешить. Никто из батраков не может войти к ней в стойло. Вот уж поистине в дурной день взял я этого коня из конюшен Гилдфордского замка, знал ведь, что они там не могли с ним справиться, никто не хотел рискнуть сесть на него. Ризничий забрал его за долги в пятьдесят шиллингов, по дешевке, пусть и делает с ним что хочет. На мою ферму в Круксбери конь больше не вернется.

— Здесь он тоже не останется, — сказал настоятель. — Брат ризничий, ты вызвал дьявола, тебе его и усмирять.

— Охотно! — воскликнул ризничий. — Пусть брат казначей вычтет из моего недельного содержания пятьдесят шиллингов, так что монастырь ничего не потеряет. Вон стоит Уот с арбалетом и стрелой за поясом: пусть он вгонит ее в голову этой проклятой твари: ее шкура да копыта стоят побольше, чем она сама.

Крепкий загорелый старик-охотник, отстреливавший хищников в монастырских лесах, вышел вперед и широко улыбнулся. Наконец-то после лисиц и горностаев перед ним была благородная жертва, и она должна была пасть от его руки. Он вложил стрелу в арбалет, поднял его к плечу и нацелился на свирепую гордую косматую голову, которая в дикой пляске металась по ту сторону стены. Он уже положил палец на спуск, как вдруг удар хлыста подбросил оружие вверх, и стрела, не причинив никому вреда, улетела за монастырский фруктовый сад. Охотник в замешательстве отшатнулся под гневным взглядом Найджела Лоринга.

— Поберегите стрелы для своих хорьков, — сказал сквайр. — Неужели ты готов отнять жизнь у твари, которая только тем и виновата, что не нашла еще того, кто смирит ее неукротимый дух? Ты хотел убить лошадь, на которой с гордостью скакал бы сам король, и только за то, что у какого-то фермера, или монаха, или монастырского работника не хватает ума да ловкости обуздать ее?

Ризничий быстро обернулся к сквайру:

— Хотя вы и нагубили нам, монастырь обязан вам за то, что вы сегодня сделали. Если вы считаете, что лошадь хороша, вам бы, наверное, хотелось иметь ее. А раз мне все равно платить за нее, то, с позволения святого отца настоятеля, она теперь моя собственность и я дарю ее вам.

Аббат дернул подчиненного за рукав.

— Подумайте, брат ризничий, — шепнул он, — как бы кровь этого человека не пала на наши головы.

— Он упрям и горд, как эта лошадь, святой отец, — ответил ризничий, и на его мрачном лице появилась злорадная усмешка. — Кто бы кого ни переломал, он лошадь или лошадь его, все будет на благо миру. Если вы не позволите мне...

— Нет, нет, брат. Вы выкупили лошадь и вольны дарить ее кому пожелаете.

— Тогда я отдаю ее, со всей шкурой, и копытами, и хвостом, и норовом, Найджелу Лорингу, и да будет она так же мила и почтительна к нему, как он был к братьям Уэверлийского монастыря.

Ризничий говорил громко, под смешки монахов. А тот, кому предназначались эти слова, был уже далеко. Как только он понял, какой оборот принимает дело, он бросился туда, где оставил своего пони, снял с него удила и крепкую уздечку и, оставив его щипать придорожную траву, поспешил обратно.

— Я принимаю твой дар, монах, — сказал он, — хотя прекрасно понимаю, зачем ты это делаешь. И все же я благодарю тебя за него, потому что на всем свете есть только две вещи, о которых я страстно мечтал, но мой тощий кошелек не позволял мне их купить. Одна из них — благородный конь, что стоит перед вами, — единственный, кого бы я выбрал из всех лошадей. Укротить его будет нелегко, зато это принесет мне славу и почет. А как его зовут?

— Его зовут Поммерс, — сказал фермер. — Но предупреждаю вас, сэр, его невозможно оседлать. Многие пытались, сэр, но даже самому везучему он сломал ребро...

— Благодарю за предупреждение, — сказал Найджел. — Теперь я вижу, что это и впрямь конь, ради которого я пошел бы хоть на край света. Я создан для тебя, Поммерс, как ты для меня. И сегодня вечером ты это поймешь, или мне никогда больше не понадобится лошадь. Сегодня мы померяемся с тобой, и пусть Господь Бог даст тебе побольше сил, Поммерс, чтобы борьба была труднее и принесла мне побольше славы.

С этими словами сквайр взобрался на стену и твердо встал на ноги, держа в одной руке уздечку, а другой сжимая хлыст. Он казался воплощением изящества и отваги. Тотчас лошадь с бешеным храпом, оскалив зубы, рванулась к нему. И снова тяжкий удар металлического наконечника заставил ее отпрянуть. В то же мгновение, быстро прикинув взглядом расстояние, Найджел подался всем телом вперед, взвился в воздух, упал на коня и оказался на его широкой желтой спине. Минуту-другую ему стоило невероятных усилий удерживаться — без седла и уздечки — на животном, которое, как безумное, бушевало под ним, то становясь на дыбы, то бросаясь из стороны в сторону. Наконец ноги Найджела стальными обручами обхватили вздымающиеся ребра лошади, а его левая рука зарылась глубоко в темно-рыжую гриву.

Никогда еще в монотонную жизнь смиренной уэверлийской братии не врывалось ничего подобного этой неистовой схватке. Желтый конь вселял в душу ужас, но он был прекрасен. С раздувающимися от ярости, налитыми кровью ноздрями и безумными глазами конь метался из стороны в сторону, становился на дыбы, стремительно опускался на ноги, то склонял свирепую косматую голову до самой земли,

то взлетал на добрых восемь футов и бил копытами воздух. Гибкое тело на его спине клонилось, как тростник под ветром, то в одну сторону, то в другую. Ниже пояса всадник словно окаменел, выше — отзывался на каждое движение коня. Лицо его было спокойно и дышало непреклонной волей, а глаза сверкали восторгом борьбы. Все усилия огромного животного с пламенным сердцем и железными мышцами были тщетны — всадник прочно удерживал свое господство.

Один раз монахи в ужасе закричали: становясь все выше и выше на дыбы, лошадь в последнем безумном усилии опрокинулась на всадника, но тот успел в последний миг выскользнуть из-под тела животного, прежде чем оно коснулось земли. Спокойно, пнув ногой катавшегося по земле коня, он подождал, пока тот встанет на ноги, и, ухватившись за гриву, снова легко вскочил ему на спину. Даже мрачный ризничий не мог удержать возгласа одобрения, когда Поммерс, с изумлением обнаружив, что всадник все еще сидит у него на спине, бросился вперед, в поле, выделявая отчаянные курбеты.

Конь пришел в еще большее неистовство. В мрачных глубинах его неукротимого сердца родилось дикое желание даже ценой собственной жизни насмерть расшибить сидевшего на нем всадника. Его налитые кровью, сверкающие глаза искали орудие смерти. С трех сторон поле было обнесено высокой стеной, которую прорезали тяжелые четырехфутовые деревянные ворота. С четвертой стороны стояло длинное серое здание, один из монастырских амбаров. В нем не было ни окон, ни дверей. Конь перешел на галоп и устремился прямо к его отвесной тридцатифутовой стене. Он был готов сам разбиться об нее, лишь бы вышибить дух из человека, захотевшего добиться господства над существом, которое никогда не знало господина.

В стремительном галопе, почти касаясь задними ногами брюха, грохоча копытами по земле, взбесившаяся лошадь все быстрее и быстрее несла всадника к стене. Что сделает Найджел? Соскочит на траву? И значит, подчинится воле животного, на котором сидит? Нет, у него был и другой выход. Невозмутимо, быстро и решительно он перехватил хлыст и уздечку в левую руку, а правой сдернул с плеч короткий плащ и, вытянувшись вдоль напряженно вздрагивающей спины лошади, набросил развевающуюся ткань ей на глаза.

Результат превзошел все ожидания, однако всадник едва не оказался на земле. Когда выкаченные, жаждущие кровавой мести глаза вдруг оказались в темноте, изумленный конь так резко замер на месте, упершись передними копытами в землю, что Найджел перелетел к нему на шею и еле-еле удержался за гриву. Прежде чем он успел соскользнуть обратно, опасность миновала: непонятное явление заставило животное позабыть о своих намерениях, оно еще раз развернулось и, дрожа всем телом, нетерпеливо вскидывая голову, сбросило наконец плащ с глаз. Ледяный душ мрак растаял, перед глазами снова был луг с залитой солнцем травой.



Ему стоило невероятных усилий удерживаться на животном, которое, как безумное, бушевало под ним, то становясь на дыбы, то бросаясь из стороны в сторону.

Но вот кто-то опять покушается на его свободу! Откуда взялся во рту такой отвратительный кусок железа? А ремни на шее? От них так зудит кожа! А что это такое обручем грудь? Как страшно! В те несколько мгновений, пока лошадь стояла неподвижно, прежде чем сбросить плащ, Найджел успел протянуть руку, просунуть ей меж зубами мундштук и проворно закрепить уздечку.

От этого нового унижения, этого символа рабства и позора, в сердце солового коня снова забурлила слепая, безудержная ярость. Прикосновение сбруи привело его в неистовство. Он ненавидел и само это место, и людей — все и всех, что угрожало его свободе. Ему страстно хотелось навсегда избавиться от них, никогда больше их не видеть. Умчаться на край света, на безграничные свободные равнины. Унести за далекий горизонт от этого ужасного куска железа, от невыносимой власти человека.

Конь резко развернулся и одним величественным прыжком, легко, как олень, перескочил через четырехфутовые ворота. Шляпа слетела у Найджела с головы, его русые кудри взметнулись на ветру, когда вместе с лошадью он взвился в воздух и снова опустился на землю. Теперь они были на заливном лугу, перед ними, сверкая, журчал ручей футов двадцать шириной, впадавший ниже в реку Уэй. Соловый конь как стрела перелетел через него. Миновав большой валун, он сделал новый скачок и оставил позади кустарник, росший на противоположном берегу. Там до сих пор лежат два камня, отмечая длину этого прыжка — добрых одиннадцать шагов от одного отпечатка копыт до другого. Конь промчался под широко распростертыми ветвями огромного дуба на том берегу (его и теперь показывают как былую границу аббатства). Он надеялся сбросить с себя всадника, но Найджел распластался на напрягшейся спине лошади, зарывшись лицом в развевающуюся гриву.

Корявый сук сильно полоснул его по спине, но Найджел не потерял присутствия духа и не ослабил хватку. Становясь на дыбы, рывками бросаясь вперед, Поммерс пронесся через молодую рощу и вылетел на широкие просторы Хэнклийских холмов.

И началась скачка, о которой по сию пору рассказывают в бедных крестьянских хижинах и отголосок которой можно услышать в немудреных созвучиях старой суррейской баллады, теперь почти позабытой, от которой сохранились лишь несколько строк припева.

На Хайндхед может лань взлететь,
Обгонит сокол ветер,
Но Найджелов соловый конь
Мчит всех быстрее на свете.

Теперь перед ним простирался волнующий океан темного вереска, доходившего до колен. Огромными валами он поднимался к четким очертаниям возвышающегося впереди горного склона. Над ним синел мирный купол неба, солнце клонилось к Гэмпширским холмам. Поммерс несся через густой вереск, через лощины и ручьи, взлетал на



Это был не кто иной, как сам молодой сквайр, ведущий на поводу, как пастух ягненка, страшного солового коня из Круксбери.

крутые откосы оврагов. Сердце его разрывалось от ярости, каждая частица тела трепетала от перенесенного унижения.

Но что бы конь ни делал, человек крепко сжимал ногами его вздымающиеся бока и не отпускал развевающую гриву. Он молчал и не шевелился, но, позволяя коню выделывать все что угодно, был неумолим, как судьба, упорно ведущая к своей цели. Огромная желтая ло-

шадь неслась все вперед и вперед, поскальзывалась, спотыкалась, делала невероятные скачки, но ни на миг не сбавляла своей страшной скорости. Они миновали Хэнклийские холмы, пронеслись через Терслийские болота, поросшие камышом, который доходил лошади до заляпанной грязью холки, поднялись на высокий склон Хедлендского холма, спустились к Наткумскому ущелью. Обитатели Шоттермила слышали сумасшедший топот копыт, но не успели отогнать на дверях занавеси из бычьей шкуры, как лошадь и всадник уж исчезли из виду среди высоких папоротников Хейзлмирской долины. Конь несся вперед, оставляя за собой милю за милей. Никакое болото не могло остановить его, никакая гора не могла замедлить его безумный бег. Будь то крутой подъем на Линчмир или пологий на Фернхерст, он с грохотом мчался по ним, как по ровному месту. И только когда он слетел вниз с Хенлийского холма и впереди за рошей показались серые башни Мидхерстского замка, его напряженно вытянутая шея стала наконец едва заметной клониться к груди и дыхание участилось. Куда бы он ни бросил взгляд — в сторону роши или вперед по склону, он не видел ничего похожего на те свободные просторы, к которым стремился.

И тут над ним совершили еще одно неслыханное насилие. Довольно было и того, что человек все еще крепко держался у него на спине, так нет, теперь он стал сдерживать бег коня и направлять его по своей воле: конь почувствовал, как что-то больно дернулось у него во рту, и голову его повернули на север. Конечно, ему все равно, куда бежать, но человек, видно, сошел с ума, если решил, что норы такой лошади, как Поммерс, уже сломлены. Он скоро покажет своему врагу, что до победы еще далеко, даже если для этого придется сверх всякой меры напрячь мышцы и надорвать сердце. И конь понесся назад, вверх по длинному склону. Сможет ли он одолеть вершину? Он сам себе не признавался, что силы его на исходе, что он едва может двигаться дальше. А человек держался на нем все так же крепко. Пена ключьями покрывала коня, он весь был заляпан грязью. Глаза налились кровью, ноздри раздувались, он тяжело дышал открытым ртом, шерсть стала жесткой, от нее валил пар. Он побежал вниз с Сандийского холма и оказался у глубокого Кингслийского болота. Все, довольно. Ни плоть, ни кровь не могут этого больше вынести. Выбираясь из заросшей тростником трясины, по щиколотку в густой черной грязи, он наконец замедлил бег и, со вздохом стягивая воздух, перешел с тяжелого галопа на легкий.

И вот новое бесчестие! Где же предел его унижениям? Ему уже не позволяют самому выбирать себе аллюр! До сих пор он шел галопом, потому, что сам того хотел, а теперь его заставляет чужая воля! В бока впились шпоры, удар хлыста ожег плечи. От боли и стыда конь подскочил на месте. Потом, забыв, что у него устали ноги, что ему трудно дышать, что пот струится по всему телу, — забыв обо всем на свете, кроме невыносимого позора и пылающего внутри пламени, он снова понесся бешеным галопом. Он опять несся по вересковым склонам в сторону Уэйдаунской пустоши. Все дальше и дальше летел он вперед.

Но вот силы снова стали его покидать, у него опять задрожали ноги, он стал задыхаться; он хотел было сбавить ход, но острые шпоры и удар хлыста заставили его снова рвануться вперед. В глазах у него потемнело, от усталости кружилась голова.

Конь не видел, куда ставит ноги, ему стало все равно, куда бежать. Им владело одно безумное желание — как угодно избавиться от ужасного врага, который восседал у него на спине, мучил и не отпускал его. Он пронесся через Терсли, выкатив от боли глаза, с разрывающимся сердцем, он миновал деревушку и, подгоняемый хлыстом и шпорами, уже перевалил было через гребень Терслийского холма, как вдруг мужество разом покинуло его, вся сила куда-то ушла, с глубоким мучительным всхлипом соловый конь рухнул на вереск. Падение было так внезапно, что Найджел перелетел через шею лошади. Теперь человек и животное, задыхаясь, лежали рядом в вереске. Последняя красная полоска вечерней зари утонула за Батсером, и в лиловом небе замерцали первые звезды.

Первым пришел в себя молодой сквайр. Склонившись над задыхающейся загнанной лошастью, он ласково провел рукой по спутанной гриве и покрытой пеной морде. Лошадь обратила на него взгляд налитых кровью глаз, но теперь он прочел в них лишь удивление, а не ненависть, мольбу, а не угрозу. Когда он погладил мокрую от пота морду, лошадь тихо заржала и ткнулась мордой ему в ладонь. Этого было достаточно. То был конец борьбы. Рыцарственный враг сдавался на милость рыцаря-победителя.

— Ты мой конь, Поммерс, — прошептал Найджел и прижался щекой к вытянутой шее. — Я узнал тебя, а ты меня, и с помощью святого Павла кое-кто еще узнает нас обоих. А теперь пойдем-ка к тому вон озерку: уж не знаю, кому из нас сейчас нужнее вода.

И так уж случилось, что, возвращаясь поздно вечером домой с дальних ферм, несколько монахов Уэверлийского монастыря видели странную картину, о чем они не преминули рассказать в обители, так что в тот же вечер их рассказ дошел до ушей и ризничего, и настоятеля. А рассказали они вот что: когда они шли через Тилфорд, им встретились человек и конь, которые шли голова к голове по дороге к господскому дому. Посветив фонарями, чтобы лучше разглядеть эту пару, они увидели, что это не кто иной, как сам молодой сквайр, ведущий на поводу, как пастух ягненка, страшного солового коня из Круксбери.

Глава IV

КАК В ТИЛФОРДСКОЕ ПОМЕСТЬЕ ПРИБЫЛ СТЯПЧИЙ

В те дни, о которых повествует наша хроника, аскетическая строгость старинных норманнских замков уже смягчилась и облагородилась, так что новые жилища знати хотя и утратили былую внушитель-

ность, стали гораздо удобнее. Новое, более утонченное поколение дворян приспособляло свое жилье больше для нужд мирной жизни, чем для войны. Всякий, кому вздумалось бы сравнить первобытную наготу замков Певенши или Гилдфорда с пышным великолепием Бодмина или Уиндзора, не преминул бы отметить огромную разницу в стиле убранства, который они олицетворяют.

В более отдаленные времена замки строили с вполне определенной целью — помочь завоевателям удержать страну в руках. Но когда те окончательно утвердились на завоеванных землях, замки утратили свое бывшее назначение убежищ, где владельцы спасались от врага, и теперь за их стенами укрывались разве что от преследований суда, да еще они были центром междоусобных раздоров. На болотистых равнинах Уэльса и Шотландии замки еще сохраняли роль бастионов, охранявших границы королевства, и там они множились и процветали. Во всех же других уголках страны они скорее представляли угрозу его величеству королю и потому не пользовались его покровительством, а частично и просто уничтожались. Ко времени царствования Эдуарда III большая часть старинных боевых крепостей либо превращалась в обыкновенные жилища, либо была разрушена во дни гражданских смут. Их мрачные серые остовы и по сей день виднеются над вершинами наших холмов. На смену им возводились либо большие дворцы, способные, правда, при нужде держать оборону, но в основном все-таки служившие жильем, либо просто дома без всяких оборонительных сооружений.

Таким был и дом в Тилфорде, где последние представители некогда славного рода Лорингов изо всех сил старались сохранить свой последний оплот и не дать монахам и законникам захватить несколько жалких акров земли, что еще оставались во владении семьи. Дом был двухэтажный, срубленный из двух рядов толстых деревянных брусьев, между которыми были заложены неотесанные камни. На второй этаж, в спальню, вела наружная лестница. В нижнем этаже было только два помещения. Меньшее служило спальней старой леди Эрментруде. Второе, очень большое, — залой. Ее использовали как гостиную для членов семьи и как общую столовую, где принимали пищу и хозяева, и несколько их слуг и других челядинцев. Помещения, где эти слуги жили, а также кухни, службы и конюшни были просто рядом сараев и навесов, примыкавших к задней стенке главного здания. Там жил паж Чарлз, старый сокольник Питер, Рыжий Суайер, который состоял при деде Найджела еще во времена войн с Шотландией, бывший менестрель Уэдеркот, повар Джон и другие, оставшиеся от прежних дней благоденствия и прилепившиеся к старому дому, как ракушки к остову сидящего на мели корабля.

Однажды вечером, спустя неделю после укрошения солового коня, Найджел и его бабушка сидели в зале у большого погасшего очага. Они уже поужинали, и столы — большие столешницы на козлах — тоже были убраны, отчего комната казалась пустой и неудобной. Ка-



Там жил паж Чарлз, старый сокольник Питер... и другие, оставшиеся от прежних дней благоденствия...

менный пол был устлан толстым слоем зеленого камыша, который каждую субботу выметали вместе со всей грязью и мусором, скопившимися за неделю. На камыше пристроились несколько собак; они глодали и грызли брошенные им со стола кости. У одной стены стоял длинный деревянный буфет с тарелками и блюдами. Другой мебели в зале почти не было, если не считать двух скамеек у стен, двух кресел с высокими спинками, столика с расставленными на нем шахматными фигурами и большого железного сундука. В углу возвышалась подставка, и на ней величаво восседали два сокола. Они не издавали никаких звуков и не шевелились, только изредка мигали хищными желтыми глазами.

И если человека, привыкшего к роскоши более поздних времен, убранство комнаты поразило бы скудостью, он был бы поражен более, бросив взгляд наверх: на стенах он увидел бы множество удивительных вещей. Над камином висели гербы всех домов, связанных с Лорингами узами крови или брака. Два факела, горевшие по обе стороны камина, освещали тусклым светом голубого льва дома Перси, красных птиц де Валенсов, черный зубчатый крест де Моэнов, серебряную звезду де Веров и червленую перевязь Фиц-Аллена. Все они располагались вокруг пяти знаменитых алых роз на серебряном щите, который Лоринги со славой пронесли через столько кровавых сражений. Под потолком, из конца в конец, комнату пересекали тяжелые дубовые брусья, на которых тоже висело множество замечательных предметов: кольчуги, сработанные еще древними мастерами, несколько щитов, заржавелых помятых шлемов, луки, копья, конская сбруя, дротики для охоты на выдру, удочки и многие другие орудия боя или охоты. Еще выше, в темноте, под самым сводом крыши, виднелись ряды окороков, связки копченой грудинки, засоленных гусей и других видов мясных заготовок, которые так много значили для средневекового домашнего хозяйства.

Леди Эрментруда Лоринг — дочь, жена и мать воинов — и сама являла грозную фигуру. Она была высока ростом и худа, с резкими жесткими чертами лица и черными глазами, выразившими непреклонную волю. Ни ее седые волосы, ни согбенная спина не могли умалить чувство страха, который она внушала окружающим. Ее мысли и память постоянно обращались назад, в суровое прошлое. Англия нового времени казалась ей страной выродившейся, изнеженной, далеко отошедшей от старых добрых правил рыцарской учтивости и доблести.

Ей в равной мере претило и то, что народ набирает силу, а церковь богатеет, и то, что знать утопает в роскоши и что сама жизнь становится все утонченнее. По всей округе боялись не только ее грозного вида, но и тяжелой дубовой палки, без которой она не могла передвигать свои немощные ноги.

И все же, хоть ее и боялись, она пользовалась всеобщим уважением. Ведь в дни, когда книг было мало, а грамотеев и того меньше, очень ценились те, кто хорошо помнил о событиях прошлого и складно говорил. А где, как не в доме леди Эрментруды, неграмотные молодые сквайры Суррея и Гэмпшира могли послушать про подвиги своих дедов или получить знания по геральдике и рыцарскому этикету, которые она приносила им из века более сурового и воинственного? При всей ее бедности, она была единственным человеком в Суррее, к которому охотно обращались со всеми вопросами, касающимися правил поведения или старшинства родов.

Сейчас она сидела скрючившись у остывшего очага и смотрела на Найджела. Суровые черты старого, в красных прожилках лица смягчились, в них светились любовь и гордость. Молодой сквайр, тихонько насвистывая, делал для своего арбалета тонкие стрелы на мелкую

дичь. Случайно подняв голову, он поймал устремленный на него взор темных глаз. Подавшись вперед, он погладил костлявую руку:

— Чему вы так радуетесь, милая госпожа? По глазам вашим вижу, что вас что-то радует.

— Сегодня мне рассказали, как тебе достался этот огромный боевой конь, что бьет копытами на конюшне.

— Что вы, что вы, госпожа! Я ведь уже говорил вам, что его подарили мне монахи.

— Да, сын мой, об этом ты говорил, а вот обо всем остальном промолчал. Будто я не понимаю, что лошадь, которую ты привел, ничуть не похожа на ту, что дали тебе монахи. Почему ты мне ничего не рассказал?

— Право, неловко рассказывать о таких пустяках.

— Вот-вот. То же самое сказал бы и твой отец, и твой дед. Когда в былые времена рыцари собирались за столом, а чаша доброго вина шла по кругу, они сидели молча и только слушали рассказы о разных подвигах. А если кто хотел особо выделиться и начинал говорить громче других, отец твой, бывало, тихонько дергал его за рукав и спрашивал, нет ли на нем какого обета, от которого отец мог бы его освободить, и не удостоит ли он отца сразиться с ним в благородном поединке. Если рыцарь замолкал, потому что был просто хвостун, отец тоже ничего больше не говорил, и все оставалось между ними. Ну а если тот держался достойно, твой отец повсюду прославлял его имя, при этом ни словом не упоминая о себе самом.

Найджел смотрел на старую женщину сияющими глазами.

— Я очень люблю, когда вы так говорите о нем. Прошу вас, расскажите еще раз, как он принял смерть.

— Он принял смерть, как и жил, истинным дворянином. Она пришла к нему во время большой битвы у берегов Нормандии. Отец был начальником готовой команды на корабле самого короля. А за год до этого, когда французы взяли верх в Проливе и сожгли Саутгемптон, они захватили один большой английский корабль «Христофор». Так вот, когда началось сражение, они пустили этот корабль впереди своих судов. Но англичане тут же окружили его, ворвались на борт и перебили всех, кто там был. В живых остался только сэр Лоредан Генуэзский, он был командиром корабля. И он сразился с твоим отцом на юте. Это было великолепное зрелище. Весь флот замер, чтобы полюбоваться им, даже король не мог удержать возгласов восхищения. Ведь сэр Лоредан был знаменитый воин, в тот день он прямо горел отвагой, и многие рыцари завидовали твоему отцу, что ему довелось биться с таким знаменитым противником. Отец твой заставил его отступить и нанес сильный удар булавой по голове. От удара шлем сэра Лоредана повернулся так, что глазные прорезы оказались сзади, и он как бы ослеп. Он бросил меч и сдался за выкуп. Но отец твой ухватился за шлем и повернул его обратно. Когда сэр Лоредан стал снова видеть, отец протянул ему меч и предложил отдохнуть, а потом снова продолжить схватку, ибо ни от чего не будет дворянину столько пользы и удовольствия, как

от достойного поведения другого дворянина. И они сели рядом у борта. А потом, не успели они снова взяться за мечи, как в отца твоего попал камень, пущенный из баллисты, и он тут же скончался.

— А что было с сэром Лореданом? — воскликнул Найджел. — Он ведь тоже умер?

— Кажется, его просто пристрелили лучники. Они очень любили твоего отца. Да и смотрят они на такие вещи иначе, чем мы.

— Какая жалость! — заметил Найджел. — Ясно же, что он был доблестный рыцарь и храбро сражался.

— В былое время, когда я была молода, простолюдины не посмели бы поднять свою грязную руку на такого человека. Люди благородной крови, носящие доспехи, воевали друг с другом, а все остальные — лучники или копейщики — могли только устраивать драки между собой. А теперь все стали равны. И лишь изредка встречается человек такой, как ты, мой милый сын, который напоминает мне о тех, кого уже давно нет.

Найджел склонился и взял ее за руки:

— Таким меня сделали вы.

— Это правда, Найджел. Я растила тебя, как садовник растит свой самый драгоценный цветок. Ведь ты — единственная надежда нашего древнего рода. И скоро — очень-очень скоро — останешься один.

— Не надо, милая госпожа, не говорите так.

— Я очень стара, Найджел, и чувствую, как на меня надвигается тень смерти. Мое сердце жаждет смерти, потому что все, кого я знала и любила, умерли раньше меня. А ты... Что ж, для тебя это будет счастливый день, ведь я не отпускаю тебя в тот мир, куда рвется твоя отважная душа.

— Не надо! Мне хорошо и здесь, с вами, в Тилфорде.

— Мы очень бедны, Найджел. Я просто не знаю, где нам достать денег тебе на военное снаряжение. Впрочем, у нас есть добрые друзья. Есть сэр Джон Чандос. Он так отличился в войнах с французами, что с той поры всегда скачет по левую руку от короля. Он был другом твоему отцу, они вместе были посвящены в рыцари. Если я пошлю тебя ко двору и ты отвезешь ему письмо, он сделает все, что сможет.

Найджел залился краской.

— Нет, нет, госпожа Эрментруда. Я сам должен добыть себе снаряжение, как добыл коня. Я скорее пойду сражаться в этом камзоле, чем приму доспехи от кого-либо другого.

— Вот этого-то я и боялась, Найджел. Но я, право, не знаю, где взять денег, — печально произнесла старая женщина. — При жизни моего отца все было иначе. Я отлично помню, что достать кольчугу было проще простого, потому что их делали в любом английском городе. Но с каждым годом люди стали все больше заботиться о своем теле, простых кольчуг им стало мало, все хотелось чего-то позатейливее — то тут приладить непробиваемую пластину, то там что-нибудь по-особому склепать. А ведь такие штуки приходилось привозить из Толедо либо из Милана. И вот уже рыцарю надо сперва набить металлом кошелек и лишь потом прикрыть им тело.

Найджел с тоской взглянул на старое оружие, висевшее на балках у него над головой.

— Ясенево копье еще годится, да и дубовый щит, обитый сталью. Сэр Роджер Фиц-Аллен как-то пробовал их и сказал, что давно не встречал ничего лучшего. А вот доспехи...

Леди Эрментруда покачала головой и рассмеялась.

— У тебя широкая душа, Найджел, такая же, как у отца, да вот грудь поуже, а руки и ноги покороче. Отец-то твой был выше и сильнее всех в великом королевском войске. От его доспехов тебе мало проку. Нет, милый сын, у меня на уме другое. Когда придет время, ты продашь этот дом — он совсем разваливается — и наш жалкий клочок земли и пойдешь воевать, чтобы своей собственной рукой заложить основу будущего процветания нового дома Лорингов.

Тень гнева скользнула по молодому свежему лицу.

— Боюсь, нам нелегко будет отделаться от монахов и стряпчих. Как раз сегодня приходил один человек из Гилдфорда с иском от монастыря — еще от той поры, когда был жив отец.

— А где же эти иски, сын мой?

— Все эти бумажки и пергаменты болтаются на ветках кустарника: они у меня полетели по ветру быстрее соколов.

— Ты с ума сошел, Найджел! Разве можно так себя вести? А где этот человек?

— Рыжий Суайер и старый Джон-лучник закинули его в Терслийское болото.

— Увы, боюсь, в наши дни уже нельзя позволять себе подобных выходов. Хотя, конечно, и отец мой, и муж отправили бы его в Гилдфорд без ушей. А сейчас нам, людям благородной крови, не совладать с церковью и законом. Быть беде, Найджел, быть беде. Настоятель Уэверли из тех, кто всегда прикроет щитом церкви ее слуг.

— Сам-то настоятель не сделает нам ничего худого. На наши земли зарится тот тощий серый волчина, ризничий. Что ж, пусть попробует. Я его не боюсь.

— Он владеет таким оружием, Найджел, что и храбрецу из храбрецов надо его опасаться. В его руках отлучение от церкви — погибель для души человеческой. А чем нам защититься от него? Прошу тебя, Найджел, будь с ним учтив.

— Нет, дорогая госпожа. Хотя повиноваться вам — мой долг и радость, я скорее умру, чем стану выпрашивать как милость то, что принадлежит нам по праву. Всякий раз, как я смотрю из окна, я вижу вздымающиеся холмы и богатые луга, поляны и лощины, леса и рощи, и все это было наше еще со времен Вильгельма Завоевателя: он подарил эти уголья Лорингу, который нес его щит на Сенлаке¹. А потом их отобрали у нас обманом и хитростью, и теперь многие арендаторы куда богаче меня.

¹ С е н л а к — холм под Гастингсом, где 14 ноября 1066 года Вильгельм Завоеватель разбил короля саксов Гарольда, чье войско выстроилось к бою на этом холме.



Найджел с тоской взглянул на старое оружие...

Но зато никто не скажет, что я спас остатки своего состояния, подставив голову под ярмо. Пусть монахи делают что угодно, мне же придется выбирать: либо все стерпеть, либо защищаться, не жалея сил.

Старая леди глубоко вздохнула и покачала головой.

— Ты говоришь как истинный Лоринг. Но все же, боюсь, впереди нас ждут большие неприятности. Впрочем, не будем больше об этом. Что толку говорить, если мы ничего не можем сделать? Где твоя цитра? Сыграй и спой мне что-нибудь, пожалуйста.

В те дни мало кто из дворян умел читать и писать, зато все говорили на двух языках, играли хотя бы на одном музыкальном инструменте и обладали уймой других достоинств: умели ухаживать за соколами, были сведущи во всех тонкостях псовой охоты, знали повадки любого зверя и птицы, разбирались, когда можно и когда нельзя на них охотиться. И телом они были крепки: каждый умел проскакать на лошади без седла, вскарабкаться на отвесную стену, окружающую замок, или попасть стрелой в бегущего зайца; и все это приходило как бы само собой. Иначе было с музыкой. Тут требовались долгие часы упорного труда. Но наступало время, когда сквайр уже умел управляться со струнами, хотя и слух его, и голос все еще оставляли желать лучшего.

Поэтому Найджелу очень повезло, что у него был всего один слушатель, да еще столь пристрастный. Высоким, чистым голосом, с большим чувством, но то и дело сбиваясь, он запел франко-норманнскую песню, потряхивая в такт музыке русыми кудрями:

Клинок! Клинок! Мне дайте клинок.
Идем в опасный поход.
Пусть рвы глубоки, ворота крепки,
Но сильный все превзойдет.
Пусть со злой судьбой предстоит мне бой —
Мой плюмаж выше стен взлетит.
Все замки отопрем мы стальным ключом,
Иль знайте, что я убит.

Коня! Коня! Мне дайте коня.
Пусть умчит он меня в края,
Где кипит война, кровава, страшна,
Но славу стяжаю я.
Направим мы бег от лени и нег,
Вливающих в жилы яд,
По тропам крутым, где слезы и дым,
Но сердце надежды пьянят.

И дух мне в грудь вложите такой.
Чтоб я не бледнел в бою;
Чтоб, ясен и смел, одного хотел —
Честь умножить свою:
Чтоб был терпелив, и, в схватку вступив,
Хранил спокойствие в ней,
И страх презирал, и чело склонял
Лишь перед дамой своей¹.

¹ Перевод стихов Ю. Корнеева.

БЕЛЫЙ ОТРЯД



Глава I

О ТОМ, КАК ПАРШИВУЮ ОВЦУ ИЗГНАЛИ ИЗ СТАДА

Большой колокол в Болье звонил. Далеко-далеко разносились по лесу его певучие, все нарастающие звуки. Работники, добывавшие торф в Блэкдауне, и рыбаки на Эксе слышали, как в знойном летнем воздухе дальний звон гудит то громче, то слабее. В тех местах звуки эти были привычными, столь же привычными, как болтовня соек или крик выпы. Однако и рыбаки и крестьяне поднимали головы, вопро-сительно переглядываясь, ибо Angelus¹ уже отзвучал, а до вечерни было еще далеко. Почему же звонит большой колокол в Болье, если тени уже не короткие, но еще и не длинные?

Группами возвращались монахи в монастырь. По травянистым алле-ям, вдоль которых росли искривленные дубы и покрытые лишайником березы, спешила одетая в белое братия на призыв колокола. Монахи по-кинули виноградники и давальню, телятники и бычьи хлевы, ямы, где брали глину, солеварни, даже дальние кузницы в Соулее и Мызу свято-го Леонарда и все устремились в монастырь. Это не было неожиданно-стью: быстроногий вестник обежал в прошлую ночь самые отдаленные владения аббатства и оставил каждому монаху вызов на третий час по-сле полудня. Столь спешного вызова не помнил даже сторож старик Афанасий, вот уже много лет чистивший дверной молоток у ворот, а он начал его чистить через год после битвы при Баннокберне.

Чужеземец, ничего не знающий ни о монастыре, ни о его огромных богатствах, все же, глядя на братьев-монахов, мог бы составить себе представление о лежавших на них разнообразных обязанностях и об их деятельности на широко раскинувшихся монастырских землях, цен-тром которых являлось старинное аббатство. И когда они, склонив го-ловы и беззвучно шевеля губами, по двое и по трое неторопливо входили в его ворота, лишь на очень немногих не было следов повседневно-го труда. У двоих кисти рук и рукава были забрызганы красноватым виноградным соком. Бородатый монах нес в руках топор с широким топорищем, на спине — вязанку хвороста, а рядом с ним шагал другой, держа под мышкой ножницы для стрижки овец, причем белые шер-

¹ Ангел (Господень) (*лат.*) — название молитвы, начинающейся этими словами, и колокольного звона, который призывал к этой молитве трижды в день: рано утром, в полдень и к вечеру. Здесь имеется в виду полуденный Angelus.

стинки налипли на его еще более белую одежду. По дороге тянулась длинная, нестройная вереница людей с лопатами и мотыгами, а позади всех два монаха тащили огромную корзину с только что пойманными карпами, ибо это было под пятницу и надлежало наполнить пятьдесят деревянных тарелок и насытить столько же дюжих едоков. Во всей этой толпе едва ли нашелся бы хоть один монах, не испачканный и не уставший, но аббат Бергхерш был требователен и к себе и к другим.

А тем временем в просторном, высоком покое, предназначенном для особо важных случаев, нетерпеливо расхаживал сам аббат, стискивая на груди длинные, бледные, нервные пальцы. Его осунувшееся, изнуренное раздумьями лицо с ввалившимися щеками говорило о том, что человек этот действительно поборол в себе внутреннего врага, с которым каждому из нас суждено встретиться, и все же тяжело пострадал в этой борьбе. Сокрушив свои страсти, он почти что сокрушил самого себя. Однако каким бы хрупким ни казался его облик, в глазах под нависшими бровями время от времени вспыхивала бешеная энергия, напоминая людям о том, что он из воинственного рода и что его брат-близнец сэр Бартоломью Бергхерш принадлежит к числу тех прославленных суровых воинов, которые водрузили крест святого Георгия перед воротами Парижа. Сжав губы и нахмутив лоб, аббат шагал взад и вперед по дубовому полу, словно живое воплощение аскетического духа, а большой колокол продолжал гремять и гудеть над его головой. Наконец звон прекратился, завершившись тремя размеренными ударами, и не успело затихнуть их эхо, как аббат стал бить в маленький гонг, который ему подал келейник.

— Что, братия собралась? — спросил аббат на англо-французском диалекте, который был принят в монастырях того времени.

— Пришли, — ответил белец; глаза его были опущены, и руки скрещены на груди.

— Все?

— Тридцать два инока и пятнадцать послушников, преподобный отец. Брат Марк из спикария¹ болен лихорадкой и не смог прийти. Он сказал...

— Что бы он ни сказал, лихорадка или нет, а он обязан был явиться по моему зову. Его дух должно сломить, как и дух многих в этой обители. Но и ты сам, брат Франциск, как мне сообщили, дважды что-то сказал вслух, когда за трапезой читали жития самых почитаемых святых. Что ты можешь привести в свое оправдание?

Келейник стоял молча и смиренно, все так же скрестив руки на груди.

— Одну тысячу Ave² и столько же Credo³. Прочтешь их стоя, с воздетыми руками, перед алтарем Пресвятой Девы. Может быть, это напомнит

¹ С п и к а р и й — склад для необмоленного хлеба, рига (*средневековый латинизм*).

² Богородице Дево, радуйся (*лат.*).

³ Верую (*лат.*).

тебе, что творец наш дал нам два уха и только один рот, как бы указывая на двойную работу ушей в сравнении со ртом. Где наставник послушников?

— Во дворе монастыря, преподобный отец.

— Попроси его сюда.

Сандалии келейника застучали по деревянному полу, и окованная железом дверь взвизгнула на своих петлях. Вскоре она снова открылась, и вошел невысокий, коренастый монах с массивным, волевым лицом и властными движениями.

— Вы посылали за мной, преподобный отец?

— Да, брат Иероним, я хотел бы, чтобы с этим делом было покончено по возможности без шума, но все же пусть оно послужит для всех назиданием.

Аббат перешел на латынь, ибо этот язык своей древностью и торжественностью больше подходил для обмена мыслями между двумя людьми, занимающими в ордене высокие посты.

— Может быть, самое лучшее — не допускать послушников? — предложил наставник. — Как бы упоминание о женщине не отвлекло их ум от благочестивых размышлений и не обратило их помыслы к мирскому злу!

— Женщины! Женщины! — простонал аббат. — Святое христианство справедливо назвало их *radix malorum*¹. Начиная с Евы какой прок был от них? А кто подал жалобу?

— Брат Амвросий.

— Благочестивый и праведный юноша.

— Светильник и пример для каждого послушника.

— Пусть тогда вопрос будет разрешен согласно нашим древним монастырским обычаям. Пусть викарий и его помощник введут братьев в соответствии с их возрастом, а также брата Иоанна, обвиняемого, и брата Амвросия, обвинителя.

— А послушники?

— Пусть соберутся в северной аркаде. Постой! Пусть помощник викария пошлет к ним псаломщика Фому и тот почитает им из «*Gesta beati Benedicti*»². Это удержит их от неразумной и вредной болтовни.

Аббат снова остался один и склонил худое, серое лицо над иллюстрированным молитвенником. Он пребывал в той же позе, пока старейшие монахи медленно и с невозмутимым видом входили в комнату и рассаживались на длинных дубовых скамьях, тянувшихся вдоль стен. На дальнем конце в двух высоких креслах, таких же массивных, как и кресло аббата, хотя и не украшенных столь изысканной резьбой, сидели наставник послушников и викарий — полный, осанистый священник с темными игривыми глазами и густой порослью курчавых черных волос вокруг тонзуры. Между ними стоял худощавый, бледный монах, которому было, как видно, не по себе, он переминался с ноги на ногу и нервно похлопывал

¹ Корень зла (*лат.*).

² Деяния блаженного Бенедикта (*лат.*).

себя по подбородку зажатый в руке длинным свитком пергамента. Аббат сверху смотрел на ряды лиц, по большей части загорелых и невозмутимых, — их равнодушный взор и гладкая кожа свидетельствовали о безмятежном однообразии их жизни. Затем он обратил нетерпеливый, пылающий взгляд на бледнолицего монаха, стоявшего перед ним.

— Жалоба подана тобой, как я узнал, брат Амвросий, — сказал он. — Да осенит нас нынче своею благостью святой Бенедикт, патрон нашего монастыря, и да поможет он нам в наших решениях. Сколько пунктов обвинения?

— Три, преподобный отец, — ответил монах вполголоса.

— Ты изложил их согласно обычаю?

— Они записаны на пергаменте.

— Пусть пергамент отдадут брату викарию. Введи брата Иоанна, надо, чтобы он выслушал, в чем его обвиняют.

Следуя приказу аббата, один из бельцов распахнул двери, и вошли еще двое, а между ними шагал молодой послушник мощного телосложения, рослый, рыжий, темноглазый; на смелом, резко очерченном лице было странное выражение не то насмешки, не то недоверия. Откинутый капюшон лежал на плечах, а ряса, не стянутая сверху, открывала округлую мускулистую шею, жилистую и бурую, точно сосновая кора. Из широких рукавов одежды выступали покрытые рыжеватым пухом мускулистые руки, а распахнувшаяся сбоку белая одежда открывала тяжелую, узловатую ногу в уколах и царапинах от ежевики. Поклонившись аббату, быть может, скорее шутливо, чем почтительно, рыжий детина устремился к резному налою, поставленному для него в стороне, и замер — прямой, безмолвный, положив руки на золотой колокольчик, которым пользовались во время богослужения, совершаемого в покоях аббата. Взгляд его темных глаз быстро скользнул по собравшимся и наконец, блеснув угрюмо и угрожающе, задержался на лице его обвинителя. Викарий поднялся и, медленно развернув исписанный пергамент, принялся читать басовитым и торжественным голосом, а приглушенный шорох и движение среди братьев свидетельствовали о том интересе, с каким они следили за чтением.

— «Обвинения, выдвинутые во второй четверг после праздника Успения в год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа тысяча триста шестьдесят шестой против брата Иоанна, ранее известного как Хордл Джон, или Джон из Хордла, ныне же состоящего послушником в святом монашеском ордене цистерцианцев. Прочитаны в тот же день в аббатстве Болье в присутствии его преподобия аббата Бергхерша и всего ордена.

Сей брат Иоанн обвиняется в следующем:

Во-первых, что когда на вышеупомянутом празднике Успения послушникам было подано слабое пиво из расчета по одной кварте на четверых, брат Иоанн выпил залпом весь кувшин, нанеся тем ущерб брату Павлу, брату Порфирию и брату Амвросию, бывшим едва в состоянии потом съесть соленую треску, ввиду их чрезвычайной жадности».

При этом торжественном обвинении послушник поднял руку, губы у него дрогнули, и даже невозмутимые старшие братья переглянулись и кашлянули, чтобы скрыть улыбку.

Лишь аббат сидел в своем кресле хмурый и неподвижный, с замкнутым лицом и сосредоточенным взглядом.

— «Затем, после того как наставник послушников сказал упомянутому Джону из Хордла, что он должен в течение двух дней ограничиваться в пище трехфунтовым караваем хлеба и бобами, ради вящей славы и чести святой Моники, матери блаженного Августина, он заявил в присутствии брата Амвросия и других, что-де пусть двадцать тысяч чертей заберут эту самую Монику, мать блаженного Августина, да и всякую иную святую, если она будет встречать между человеком и его куском мяса. После того как брат Амвросий упрекнул его за столь кощунственное пожелание, он схватил Амвросия и держал его лицом вниз над пискаторием, или же рыбным прудом, столь долгое время, что онный брат успел прочесть единожды «Отче наш» и четырежды «Богородицу», дабы укрепить свою душу перед грозящей ему смертью».

При столь тяжком обвинении по рядам одетых в белое братьев пробежал шепот и жужжание; однако аббат поднял длинную дрожащую руку.

— Что дальше? — спросил он.

— «Затем, в праздник святого Иакова Меньшего, меж девятым часом и вечерней, упомянутый брат Иоанн был замечен на Брокенхерстской дороге, неподалеку от места, известного под названием Хэтчетс Понд, беседующим с особой другого пола, оказавшейся девицей по имени Мэри Соулей, дочерью королевского лесничего. После всяких смешков да шуточек онный брат Джон взял оную Мэри Соулей на руки и перенес через реку, чем доставил величайшее блаженство диаволу и нанес глубокий вред своей душе. Сие своевольное и скандальное грехопадение засвидетельствовано тремя братьями из нашего ордена».

В комнате наступила гробовая тишина, монахи качали головами и закатывали глаза, что говорило об их благочестивом ужасе. Аббат посмотрел суровым, пронизывающим взглядом из-под сдвинутых седых бровей.

— Кто может поручиться, что все это правда?

— Во-первых, я, — ответил обвинитель. — И еще брат Порфирий, он сопровождал меня, и брат Марк из спикария, он был настолько ошеломлен и смущен таким зрелищем, что сейчас лежит в лихорадке.

— А женщина? — спросил аббат. — Разве она не разразилась жалобами и проклятиями оттого, что монах так унизил свое достоинство?

— Да нет, она ласково улыбнулась ему и поблагодарила. Это могу подтвердить и я и брат Порфирий.

— Можешь? — воскликнул аббат резким и гневным голосом. — Можешь? Значит, ты забыл тридцать пятое правило нашего ордена, а оно гласит, что в присутствии женщины следует отворачивать лицо и опускать глаза долу? Забыл? Говори! Если бы взоры твои были устремлены на твоей сандалиии, как мог бы ты видеть улыбку, о которой болтаешь? Неделя заточения в келье, ложные братья, неделя на ржа-

ном хлебе и чечевице, двойные заутрени, может быть, помогут вам вспомнить об уставе, которому вы обязаны подчиняться!

При этой внезапной вспышке гнева оба свидетеля опустили головы на грудь и сидели подавленные. Аббат ответил от них глаза и посмотрел на обвиняемого, который смело встретил их гневный, пронизывающий взгляд; в лице его была решимость и твердость.

— Что ты можешь сказать, брат Иоанн, в ответ на столь тяжелые обвинения?

— Весьма мало, преподобный отец, весьма мало, — ответил послушник, который говорил по-английски с грубым западносакским акцентом.

Монахи, которые все до одного были англичанами, наострили уши при звуках его простонародного и все же непривычного говора, а щеки аббата вспыхнули краской гнева, и он ударил ладонью по дубовой ручке своего кресла.

— Что я слышу? — воскликнул аббат. — Разве можно говорить на таком языке в стенах столь древнего и прославленного монастыря? Благородство и ученость всегда шли рука об руку, и, если утрачено одно, бесполезно искать другое.

— На этот счет мне ничего не известно, — сказал рыжий детина. — Знаю только, что слова эти ласкают мой слух, ибо так говорили до меня мои предки. С вашего дозволения я либо буду говорить так, как говорю, либо совсем замолчу.

Аббат погладил свое колено и кивнул, как человек, когда он что-либо решил зачеркнуть, но не забывать об этом.

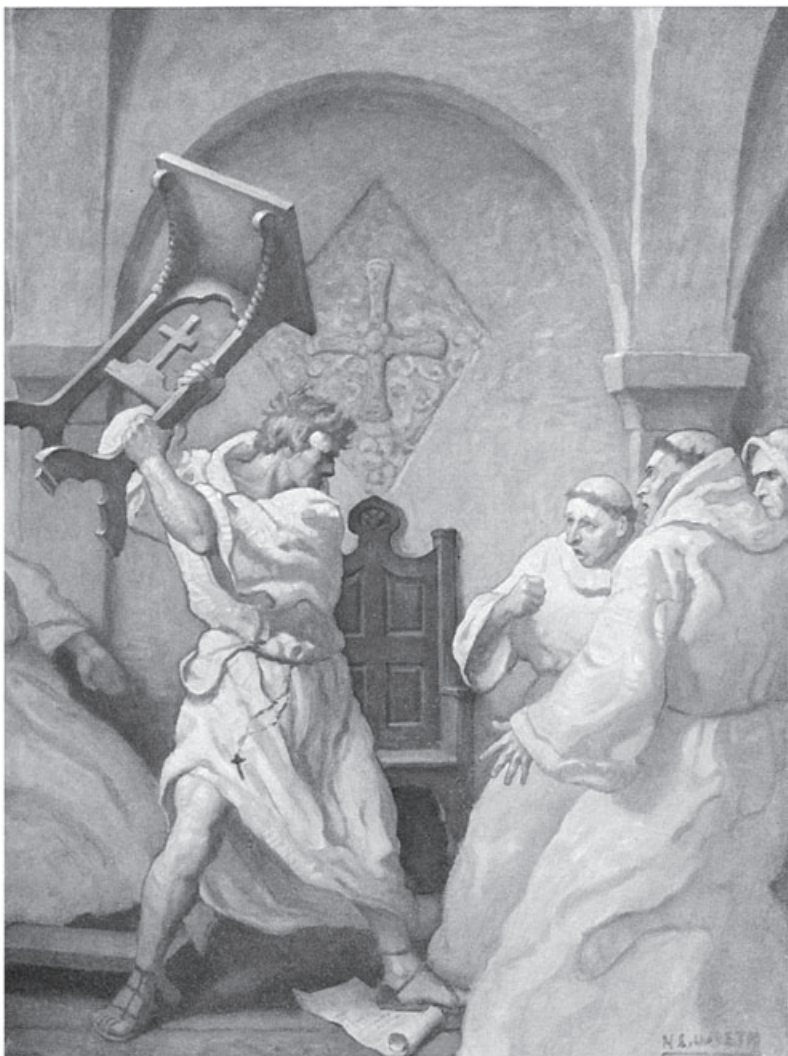
— Что касается эля, — продолжал Джон, — то я вернулся с поля разгоряченный и не успел даже распробовать его, как уже увидел дно кувшина... Может быть, я и обронил что-нибудь насчет отрубей и бобов, что они плохой корм и мало годятся для человека моего роста. Правда и то, что я поднял руку на этого шута горохового брата Амвросия, но, как вы сами видите, особого ущерба ему не причинил. А касательно девицы тоже правда — я перенес ее через реку: на ней были чулки и башмаки, а на мне — только деревянные сандалии, которым от воды никакого вреда нет. Я бы считал позором и для мужчины и для монаха не протянуть ей руку помощи.

И он посмотрел вокруг с тем полушутливым выражением, которое не сходило с его лица в течение всего разбирательства.

— Незачем продолжать, — заявил аббат. — Он во всем сознался. Мне остается только определить меру наказания, которого заслуживает его дурное поведение.

Он поднялся, и два ряда монахов последовали его примеру, испуганно косясь на разгневанного прелата.

— Джон из Хордла, — загремел он, — за два месяца твоего послушничества ты показал себя монахом-отступником и человеком, недостойным носить белое одеяние, ибо оно является внешним символом незапятнанности духа. Поэтому белая одежда будет совлечена с тебя, ты будешь извергнут в мирскую жизнь, лишен преимуществ духовно-



— Клянусь черным распятием из Уолтема, — завопил он, — если хоть один из вас, мошенников, коснется меня пальцем, я расколю ему череп, как лесной орех!

го звания, и у тебя отнимется твоя доля благодати, осеняющей тех, кто живет под охраной святого Бенедикта. Отныне дорога в Болье для тебя закрыта, и твое имя будет вычеркнуто из списков ордена!

Пожилым монахам приговор этот показался ужасным: они настолько привыкли к безопасной и размеренной жизни аббатства, что за его пределами оказались бы беспомощными, как дети. Из своего благочес-

тивого оазиса они сонно взирали на пустыню жизни, полную бурь и борьбы, неприютную, беспокойную, омраченную злом. Однако у молодого послушника были, видимо, иные мысли, ибо глаза его заискрились и улыбка стала шире. Но это только подлило масла в огонь — настоятель разъярился еще пуще.

— Такова будет твоя духовная кара! — воскликнул он. — Но при такой натуре, как твоя, надо воздействовать на более грубые чувства, и раз ты уже не находишься под защитой святой церкви, сделать это будет нетрудно. Сюда, бельцы Франциск, Наум, Иосиф! Схватить его, связать ему руки! Тащите его прочь, и пусть лесники и привратники палками изгонят его из наших владений!

Когда упомянутые три брата двинулись к нему, чтобы выполнить приказ аббата, улыбка исчезла с лица послушника, и он стрельнул направо и налево своими неистовыми карими глазами, словно затравленный бык. Затем из глубины его груди вырвался крик, он рванул к себе тяжелый дубовый налой и замахнулся им, отступив на два шага, чтобы никто не мог напасть на него сзади.

— Клянусь черным распятием из Уолтема, — завопил он, — если хоть один из вас, мошеников, коснется меня пальцем, я расколю ему череп, как лесной орех!

В этом парне с его дюжими, узловатыми руками, громовым голосом и рыжей щетиной на голове было что-то настолько грозное, что все три брата подались назад от одного его взгляда, а ряды белых монахов пригнулись, словно тополя в бурю. Только аббат ринулся вперед, сверкая глазами, но викарий и наставник послушников повисли у него на руках и увлекли подальше от опасности.

— Он одержим дьяволом! — кричали они. — Бегите, брат Амвросий и брат Иоахим! Позовите Хью-мельника, и Уота-лесника, и Рауля со стрелами и с арбалетом. Скажите им, что мы опасаемся за свою жизнь! Бегите! Скорее! Ради Пресвятой Девы!

Однако бывший послушник был не только стратегом, но и человеком действия. Прыгнув вперед, он метнул свое громоздкое оружие в брата Амвросия и в тот миг, когда и налой и монах с грохотом рухнули на пол, выскочил в открытую дверь и помчался вниз по витой лестнице. Мимо дремавшего возле своей кельи привратника брата Афанасия как будто пронеслось видение: его ноги мелькали, одежда развевалась; но не успел Афанасий протереть глаза, как беглец проскочил сторожку и со всей скоростью, какую допускали его деревянные сандалии, помчался по дороге в Линдхерст.

Глава II

КАК АЛЛЕЙН ЭДРИКСОН ВЫШЕЛ В ШИРОКИЙ МИР

Никогда еще мирная атмосфера старинного цистерцианского монастыря так грубо не нарушалась. Никогда еще не бывало в нем восстаний столь внезапных, столь кратких и столь успешных. Однако аб-

бат Бергхерш был человеком слишком твердого характера, он не мог допустить, чтобы мятеж одного смельчака поставил под угрозу установленный распорядок в его обширном хозяйстве. В нескольких горьких и пылких словах он сравнил побег их лжебрата с изгнанием наших прародителей из рая и заявил прямо, что если братия не одумается, то еще кое-кого может постигнуть такая же судьба, и они окажутся в таком же греховном и гибельном положении. Выступив с этим назиданием и вернув свою паству к состоянию надлежащей покорности, он отпустил собравшихся, дабы они возвратились к обычным трудам, и удалился в свой покой, чтобы обрести в молитве духовную поддержку для выполнения обязанностей, налагаемых на него высоким саном.

Аббат все еще стоял на коленях, когда осторожный стук в дверь кельи прервал его молитвы.

Недовольный, он поднялся с колен и разрешил стучавшему войти; но, когда он увидел посетителя, его раздраженное лицо смягчилось, и он улыбнулся по-отечески ласково.

Вошедший, худой белокурый юноша, был выше среднего роста, стройный, прямой и легкий, с живым и миловидным мальчишеским лицом. Его ясные серые глаза, выражавшие задумчивость и чувствительность, говорили о том, что это натура, сложившаяся в стороне от бурных радостей и горестей грешного мира. Однако очертания губ и выступающий подбородок отнюдь не казались женственными. Может быть, он и был порывистым, восторженным, впечатлительным, а его нрав — приятным и общительным, но наблюдатель человеческих характеров настаивал бы на том, что в нем есть и врожденная твердость и сила, скрывающиеся за привитой монастырем мягкостью манер.

Юноша был не в монастырском одеянии, но в светской одежде, хотя его куртка, плащ и штаны были темных тонов, как и подобает тому, кто живет на освященной земле. Через плечо на широкой кожаной лямке висела сума или ранец, какие полагалось носить путникам. В одной руке он держал толстую, окованную железом палку с острым наконечником, в другой — шапку с крупной оловянной бляхой спереди, на бляхе было выгиснено изображение Рокамадурской Божьей Матери.

— Собрался в путь, любезный сын мой? — сказал аббат. — Нынче поистине день уходов. Не странно ли, что за какие-нибудь двенадцать часов аббатство вырвало с корнем свой самый вредный сорняк, а теперь вынуждено расстаться с тем, кого мы готовы считать нашим лучшим цветком?

— Вы слишком добры ко мне, отец мой, — ответил юноша. — Будь на то моя воля, никогда бы я не ушел отсюда и дожил бы до конца своих дней в Болье. С тех пор, как я себя помню, здесь был мой родной дом, и мне больно покидать его.

— Жизнь несет нам немало страданий, — мягко отозвался аббат. — У кого их нет? О твоём уходе скорбим мы все, не только ты сам. Но ничего не поделаешь. Я дал слово и священное обещание твоему отцу Эдрику-землепашцу, что двадцати лет от роду отправлю тебя в широ-



— Собрался в путь, любезный сын мой? — сказал аббат.

кий мир, чтобы ты сам изведаль его вкус и решил, нравится ли он тебе. Садись на скамью, Аллейн, тебе предстоит утомительный путь.

Повинуясь указанию аббата, юноша сел, но нерешительно и без охоты. Аббат стоял возле узкого окна, и его черная тень косо падала на застеленный камышом пол.

— Двадцать лет тому назад, — заговорил он снова, — твой отец, владетель Минстеда, умер, завещав аббатству три надела плодородной земли в Мэлвудском округе. Завещал он нам и своего маленького сына с тем, чтобы мы его воспитывали, растили до тех пор, пока он не станет мужчиной. Он поступил так отчасти потому, что твоя мать умерла, отчасти потому, что твой старший брат, нынешний сокман¹ Минстеда, уже тогда обнаруживал свою свирепую и грубую натуру и был бы для тебя неподходящим товарищем. Однако отец твой не хотел, чтобы ты остался в монастыре навсегда, а, возмужав, вернулся бы к мирской жизни.

— Но, преподобный отец, — прервал его молодой человек, — ведь я уже имею некоторый опыт в церковном служении.

— Да, любезный сын, но не такой, чтобы это могло закрыть тебе путь к той одежде, которая на тебе, или к той жизни, которую тебе придется теперь вести. Ты был привратником?

— Да, отец.

— Молитвы об изгнании демонов читал?

— Да, отец мой.

— Свещеносцем был?

— Да, отец мой.

— Псалтырь читал?

— Да, отец мой.

— Но обетов послушания и целомудрия ты не давал?

— Нет, отец мой.

— Значит, ты можешь вести мирскую жизнь. Все же перед тем, как покинуть нас, скажи мне, с какими дарованиями уходишь ты из Болье? Некоторые мне уже известны. Ты играешь на цитоле² и на ребеке³. Наш хор онемеет без тебя. Ты режешь по дереву, гравировешь?

На бледном лице юноши вспыхнула гордость искусного мастера.

— Да, преподобный отец, — отозвался он, — благодаря доброте брата Варфоломея я режу по дереву и слоновой кости и могу кое-что сделать из серебра и бронзы. У отца Франциска я научился рисовать на пергаменте, на стекле и на металле, а также узнал, какими эссенциями и составами можно предохранить краски от действия сырости и мороза. У брата Луки я заимствовал некоторое умение украшать насечкой сталь и покрывать эмалью ларцы, дарохранительницы, диптихи и

¹ С о к м а н ы, люди чаще всего недворянского происхождения, получали в «держани» землю от короля и были за это обязаны ему повинностью — воинской, денежной и проч.

² Род цитры.

³ Старинная трехструнная скрипка.

триптихи. Кроме того, у меня есть небольшой опыт в переплетном деле, граниении драгоценных камней и составлении грамот и хартий.

— Богатый список, ничего не скажешь! — воскликнул настоятель, улыбаясь. — Какой клирик из Оксфорда или Кембриджа мог бы похвастаться тем же? Что касается начитанности, тут ты, боюсь, не достиг таких же успехов.

— Да, отец мой, читал я немного. Все же, благодаря нашему доброму викарию, я не вовсе не грамотен. Я прочел Оккама, Брэдвардина и других ученых мужей, а также мудрого Дунса Скотта и труд святого Фомы Аквинского.

— Но какие знания о предметах мира сего почерпнул ты из своего чтения? В это высокое окно ты можешь увидеть кусок леса и дымы Бэклерсхарда, устье Экса и сияющие морские воды. И вот я прошу тебя, Аллейн, скажи, если кто-нибудь сел бы на судно, поднял паруса и поплыл по тем водам, куда бы он надеялся приплыть?

Юноша задумался, концом палки он начертил план на камышинах, покрывавших пол.

— Преподобный отец, — ответил он, — этот человек приплыл бы к тем частям Франции, которые находятся во владении его величества короля. Но если он повернет на юг, он сможет добраться до Испании и варварских стран. На север у него будут Фландрия, страны Востока и земли московитов.

— Верно. А что было бы, если бы он, достигнув владений короля, продолжал путь на восток?

— Он прибыл бы в ту часть Франции, которая до сих пор является спорной, и мог бы надеяться, что доберется до прославленного города Авиньона, где пребывает наш святейший отец, опора христианства.

— А затем?

— Затем он прошел бы через страну аллеманов и Великую римскую империю в страну гуннов и литовцев-язычников, за которой находится великая столица Константина и королевство нечистых последователей Махмуда.

— А дальше, любезный сын?

— Дальше находится Иерусалим, и Святая земля, и та великая река, истоки которой в Эдеме.

— А потом?

— Преподобный отец, я не знаю. Мне кажется, оттуда уже недалеко и до края света!

— Тогда мы еще можем кое-чему научить тебя, Аллейн, — ласково сказал аббат. — Знай, что многие удивительные народы живут между этими местами и краем света. Там есть еще страна амазонок, и страна карликов, и страна красивых, но свирепых женщин, убивающих взглядом, как василиск. А за ними царства Пресвитера Иоанна и Великого Хама. Все это истинная правда, ибо я узнал ее от благочестивого христианина и отважного рыцаря сэра Джона де Мандевиля, который дважды останавливался в Болье по пути в Саутгемптон и обратно,

и он рассказывал нам о том, что видел, с аналая в трапезной, хотя многие честные братья не могли ни пить, ни есть, столь поражены были они его странными рассказами.

— Мне очень бы хотелось узнать, отец мой, что может быть на самом краю света.

— Есть там предивные вещи, — важно отвечал аббат, — но никогда не предполагалось, что люди будут спрашивать о них. Однако у тебя впереди долгая дорога. Куда же ты отправишься в первую очередь?

— К брату, в Минстед. Если он в самом деле такой безбожник и насильник, тем более важно отыскать его и попробовать, не смогу ли я хоть немного изменить его нрав.

Аббат покачал головой.

— Сокман из Минстеда заслужил в округе дурную славу, — сказал он. — Если уж ты решил пойти к нему, то берегись, как бы он не сбил тебя с тесной тропы добродетели, по которой ты научился идти. Но ты под защитой Господней, в беде и смятении всегда взирай на Господа. Паче всего, сын мой, избегай силков, расставленных женщинами, — они всегда готовы поймать в них безрассудного юношу! А теперь опусти на колени и прими благословение старика.

Аллейн Эдриксон склонил голову, и аббат вознес горячие мольбы, прося небо охранить эту молодую душу, уходившую ныне навстречу грозному мраку и опасностям мирской жизни.

Ни для того, ни для другого все это не было пустой формальностью. Им казалось, что за пределами монастыря, среди людей, действительно царят лишь насилие и грех. Мир полон физических, а еще более — духовных опасностей. Небеса казались в те времена очень близкими. В громе и радуге, в урагане и молнии нельзя было не видеть прямого выражения воли божьей. Для верующих сонмы ангелов, исповедников и мучеников, армии святых и спасенных постоянно и зорко взирали на своих борющихся братьев на земле, укрепляли, поддерживали и ободряли их. Поэтому, когда юноша вышел из комнаты аббата, на сердце у него стало легче, и он почувствовал прилив мужества, а тот, провожая его до площадки лестницы, в заключение поручил его защите святого Юлиана, покровителя путешественников.

Внизу, в крытой галерее аббатства, монахи собрались, чтобы пожелать Аллейну счастливого пути. Многие приготовили подарки на память. Тут был брат Варфоломей с распятием из слоновой кости редкой художественной работы, брат Лука с псалтырью в переплете из белой кожи, украшенной золотыми пчелами, и брат Франциск с «Избиением младенцев», весьма искусно изображенным на пергаменте.

Все эти дары были уложены на дно дорожной сумы, а сверху краснотыщый брат Афанасий добавил хлеб, круг сыра и маленькую флягу прославленного монастырского вина с голубой печатью. Наконец, после рукопожатий шуток и благословений Аллейн Эдриксон зашагал прочь от Болье.

На повороте он остановился и обернулся. Вот перед ним столь хорошо знакомые строения, дом аббата, длинное здание церкви, келья с аркадой, мягко озаренные заходящим солнцем. Он видел также плавный и широкий изгиб Экса, старинный каменный колодец, нишу со статуей Пресвятой Девы, а посреди всего этого кучку белых фигур, махавших ему на прощание. Внезапно глаза юноши затуманились, он повернулся и пустился в путь; горло у него сжималось, и на сердце было тяжело.

Глава III

КАК ХОРДЛ ДЖОН НАШЕЛ СУКНОВАЛА ИЗ ЛИМИНГТОНА

Однако не в природе вещей, чтобы двадцатилетний паренек, с кипящей в жилах молодой кровью, проводил первые часы свободы, печалась о том, что он оставил позади. Задолго до того, как Аллейн перестал слышать звон монастырских колоколов, он уже решительно шагнул вперед, помахивая палкой и насвистывая так же весело, как птицы в чаще. Стоял один из тех вечеров, которые действуют возвышающе на человеческую душу. Косые лучи солнца, падая сквозь листву, рисовали на дороге хрупкие узоры, пересеченные полосами золотистого света. Далеко впереди и позади Аллейна густые ветви деревьев, местами уже медно-красные, перекидывали свои широкие арки над дорогой. Тихий летний воздух был насыщен смолистым запахом огромного леса. Порой коричневатый ручеек с плеском вырывался из-под корней, пересекал дорогу и снова терялся во мхах и зарослях ежевики. Кроме однообразного писка насекомых и ропота листьев, всюду царило глубокое безмолвие, сладостное и успокаивающее безмолвие природы.

А вместе с тем везде кипела жизнь, огромный лес был переполнен ею. То маленький юркий горностаи мелькнет у самых ног, спеша по каким-то своим лесным делам; то дикая кошка, распластавшись на дальней ветке дуба, тайком следит за путником желтым недоверчивым глазом. Один раз из чащи выскочила кабаниха с двумя поросятами, бежавшими за ней по пятам, в другой раз из-за стволов вышел, изящно ступая, рыжий олень и стал озираться вокруг бесстрашным взглядом существа, живущего под защитой самого короля. Аллейн весело взмахнул палкой, и рыжий олень, видно, сообразив, что король-то все-таки далеко, ринулся обратно в чащу.

Теперь юноша отошел уже на значительное расстояние от самых дальних владений монастыря. Тем более был он удивлен, когда за очередным поворотом тропы увидел человека в знакомой монастырской одежде, сидевшего возле дороги на куче хвороста.

Аллейн отлично знал каждого из монахов, но это лицо было для него новым; багровое и надутое, оно то и дело меняло свое выражение, как будто человек этот чем-то крайне озабочен. Вот он воздел руки к небу и яростно потряс ими, потом два раза соскакивал с хворо-

ста на дорогу и бросался вперед. Когда он вставал на ноги, Аллейн видел, что его одежда ему длинна и непомерно широка, полы ташились по земле, били по лодыжкам, так что, даже подобрав рясу, незнакомец мог идти только с трудом. Он попытался припустить бегом, но сразу же запутался в длинном одеянии, перешел на неуклюжий шаг и в конце концов снова плюхнулся на хворост.

— Молодой друг, — сказал он, когда Аллейн поравнялся с ним, — судя по твоей одежде, едва ли можно предположить, что ты знаешь что-нибудь насчет аббатства Болье.

— Вы ошибаетесь, друг, — отозвался клирик, — я провел всю свою жизнь в его стенах.

— Да что ты! Тогда, быть может, ты назовешь мне имя одного монаха — огромный такой, гнусный болван, конопатый, руки, точно грабли, глаза черные, волосы рыжие, а голос, как у приходского быка. По-моему, двух таких не сыщешь в одном монастыре.

— Это может быть только брат Иоанн, — ответил Аллейн. — Надеюсь, он ничем не обидел вас?

— Конечно, обидел, да еще как! — воскликнул незнакомец, соскакивая с груди хвороста. — Разве это не обида? Он похитил все мое платье до последней тряпки и бросил меня здесь в этой вот белой широченной юбке, а мне совестно к жене возвращаться, она подумает, что я донашиваю ее старье. И зачем только я повстречался с ним!

— Но как же это случилось? — спросил молодой клирик, едва удерживаясь от смеха при виде разгневанного незнакомца, наряженного в широченное белое одеяние.

— А случилось вот как, — сказал тот, снова опускаясь на кучу хвороста. — Я шел этой дорогой, надеясь засветло добраться до Лимингтона, и тут увидел этого рыжего мошенника, сидящего там же, где мы сидим сейчас. Проходя мимо него, я снял шапку и почтительно поклонился, подумав, что это, может быть, кто-нибудь из преподобной братии и он погружен в молитву; но незнакомец окликнул меня и спросил, слышал ли я о новой индульгенции во славу и в честь цистерцианцев.

«Нет, не слышал», — говорю. «Тогда тем хуже для твоей души!» — ответил он и завел длинный рассказ насчет того, что ввиду особых добродетелей аббата Бергхерша папа будто бы издал такой декрет: каждому, кто, надев одежду монаха из Болье, пробудет в ней столько времени, сколько нужно, чтобы прочесть семь псалмов Давида, обеспечено место в Царствии небесном. Услышав это, я опустил на колени и стал умолять, пусть даст мне надеть его одежду, на что он после долгих уговоров согласился, причем я уплатил ему три марки, а он обещал на них вновь вызолотить икону священику Лаврентия. Когда я надел его рясу, мне не оставалось ничего другого, как дать ему мою добротную кожаную куртку и штаны, ибо он уверял, что продрог до костей да и не подобает ему стоять нагишом, пока я читаю молитвы. Едва он натянул мое платье, а сделал он это с великим трудом, ибо я в длину почти такой же, как он в ширину, — едва он натянул его, а я еще

не дошел до конца второго псалма, как обманщик пожелал мне успехов в моей новой одежде и со всех ног помчался прочь от меня по дороге. Я же мог бежать не быстрее, чем если бы был зашит в мешок; и вот я здесь сижу и, вероятно, буду сидеть до тех пор, пока не заполучу обратно свое платье.

— Нет, друг, не надо так огорчаться, — сказал Аллейн, похлопав безутешного по плечу. — Вам следует снова обменять рясу на куртку в аббатстве, если у вас поблизости не найдется какого-нибудь приятеля.

— Приятель-то есть, — отозвался тот, — и неподалеку, но я не хотел бы обращаться к нему с такой просьбой: у его жены чересчур длинный язык и она будет до тех пор сплетничать на этот счет, пока я уже не смогу показаться ни на одном из рынков от Фордингбриджа до Саутгемптона. Но если вы, добрый сэр, из милосердия свернули бы немного в сторону с вашего пути, вы оказали бы мне неоплаченную услугу.

— Я сделаю это от всего сердца, — с готовностью ответил Аллейн.

— Тогда идите, пожалуйста, вон по той тропинке влево, а потом по оленьей тропе вправо. Вы увидите под высоким буком хижину угольщика. Назовите ему, добрый сэр, мое имя — «Питер-сукновал из Лимингтона» и попросите у него смену одежды, чтобы я мог немедленно продолжать свой путь. По некоторым причинам он ни за что не откажет мне.

Аллейн зашагал по указанной тропинке и вскоре увидел бревенчатую хижину угольщика. Угольщика не было дома, он заготавливал в лесу хворост. Но его жена, румяная, живая особа, собрала необходимую одежду и связала в узел. Аллейн Эдриксон, стоя на пороге открытой двери, смотрел на жену угольщика с большим интересом и некоторой опаской, ибо никогда еще не находился так близко к женщине. Быстро двигались ее полные, красные руки, платье на ней было из какой-то скромной шерстяной ткани, медная брошка величиной чуть не с круг сыра блестела на груди.

— Питер-сукновал! — повторяла она. — Подумать только! Ну, будь я женою Питера, я бы показала ему, как отдавать свое платье первому проходившему, который попросит об этом. Но он всегда был дуралеем, этот бедняга, хотя мы и очень благодарны ему за то, что он помог нам похоронить нашего второго сына Уота — он был у него в учениках в Лимингтоне в год черной смерти¹. А вы-то кто, молодой господин?

— Я клирик и направляюсь из Болье в Минстед.

— Скажите! Значит, тебя вырастили в монастыре. Я сразу догадалась. Вижу, как ты краснеешь и опускаешь глаза. Наверное, монахи научили тебя бояться женщин, будто они прокаженные! Какой стыд! Ведь этим они оскорбляют своих собственных матерей! Хорош был бы мир, если б изгнать из него всех женщин!

— Бог не допустит, чтобы это когда-нибудь случилось, — сказал Аллейн.

¹ Так называли по всей Европе чуму, свирепствовавшую во второй половине XIV века.

— Аминь, аминь! А ты красивый паренек, и скромность тебя еще больше красит. Видно по твоему лицу, что не пришлось тебе всю жизнь трудиться на ветру, да под дождем, да под знойным солнцем, как моему бедному Уоту.

— Я в самом деле очень мало видел жизнь, добрая госпожа.

— Нет ничего дороже твоей свежести и чистоты. Вот одежда для Питера, он может занести ее, когда опять будет в наших местах. Пресвятая Дева! Посмотри, какая пыль на твоей куртке. Нет женщины, которая присматривала бы за тобой, сразу видно! Вот! Так будет лучше! А теперь чмокни меня, мальчик.

Аллейн наклонился и поцеловал ее, ибо поцелуй служил в те времена обычным приветствием и, как много спустя отметил Эразм, был более распространен в Англии, чем в какой-либо другой стране. Все же кровь у него застучала в висках, и, уходя, он подумал о том что ответил бы аббат Бергхерш на столь откровенное приглашение. Он все еще испытывал внутренний трепет от этих новых ощущений, когда, выбравшись на большую дорогу, увидел зрелище, от которого все эти мысли сразу вылетели у него из головы.

Немного дальше того места, где он оставил незадачливого сукновала, он снова увидел его: Питер топал ногами и бесновался в десять раз сильнее, чем прежде, однако сейчас на нем уже не было широченного белого одеяния и никакой верхней одежды вообще, а короткая шерстяная рубашка и кожаные башмаки. Вдалеке по дороге убежала долговязая фигура. Под мышкой убежавший мужчина держал узел, а другую руку прижимал к боку, словно изнемогал от хохота.

— Вон он! — вопил Питер. — Смотрите на него! Будьте свидетелем! За это его посадят в Винчестере в тюрьму! Смотрите, как он убегает с моим плащом!

— Кто это? — крикнул в ответ Аллейн.

— Да проклятый брат Иоанн, кто же еще! Что он мне оставил из одежды? Меньше, чем каторжнику в руднике. Двойной вор, он выманил меня даже из моей рясы!

— Но все же, друг, это была его ряса, — возразил Аллейн.

— А какая мне польза от того? Он все забрал: рясу, куртку, штаны — все. Мерси ему, что оставил хоть рубашку да башмаки. Не сомневаюсь, он еще вернется и за ними.

— Но как же это случилось? — в изумлении осведомился Аллейн.

— Вы принесли одежду? Будьте милосердны, отдайте мне поскорее. Теперь сам папа ее от меня не получит, пусть посылает хоть всю коллегию кардиналов. Как случилось? Едва вы ушли, как ненавистный Иоанн возвращается бегом, и когда я открыл рот, чтобы упрекнуть его, он спрашивает, может ли это быть, чтобы служитель божий расстался со своим одеянием и сменил его на куртку мирянина. Я, говорит, отошел только на минутку, чтобы на свободе помолиться. Тут я стащил с себя его рясу, а он, притворяясь, будто ужасно спешит, тоже начал раздеваться, но когда я сбросил его балахон, он тут же схватил

его и убежал, даже не завязав тесемок, и оставил меня в таком горестном положении. Притом он без удержу хохотал, словно квакала огромная лягушка; но я бы поймал его, будь у меня дыхание не столь же коротким, сколь длинны его ноги.

Молодой человек слушал этот рассказ о нанесенной сукновалу обиде, изо всех сил стараясь сохранять серьезность; однако, глядя на этого сморщенного, краснолицего человечка, который держался с такой важностью, юноша почувствовал приступ неудержимого смеха и вынужден был прислониться к стволу дерева. Сукновал посмотрел на него торжественно и скорбно, но, заметив, что он беззвучно смеется, поклонился с подчеркнутой иронической вежливостью и в новой одежде пошел прочь деревянным шагом. Аллейн следил за ним, пока тот не стал едва виден; затем он отер слезы смеха и решительно двинулся дальше.

Глава IV КАК САУТГЕМПТОНСКИЙ БЕЙЛИФ ПРИКОНЧИЛ ДВУХ БРОДЯГ

Дорога, по которой шел Аллейн, была гораздо безлюднее, чем другие дороги королевства, особенно те, что соединяли меж собой более крупные города. Все же время от времени Аллейн встречал путников, не раз его обгоняли вереницы мулов с вьюками и группы всадников, двигавшихся в том же направлении, что и он. Один раз ему попался нищенствующий монах в коричневой рясе; он прихрамывал и, увидев Аллейна, стал жалобно умолять, пусть тот подаст ему мелкую монетку на покупку хлеба и тем спасет от голодной смерти. Но Аллейн торопливо прошел мимо: в монастыре его научили избегать нищенствующих монахов, кроме того, из сумы попрошайки торчала огромная полубглоданная баранья кость, доказывавшая, что он лгун. Как ни спешил юноша прочь, он все же услышал, как тот проклинал его именем четырех святых евангелистов. И так ужасны были эти проклятия, что Аллейн, перепуганный, заткнул уши и бежал до тех пор, пока монах не превратился в коричневое пятнышко на желтой дороге.

Подалее, на опушке леса, он увидел коробейника с женой, сидевших на поваленном дереве. Тюк с товарами служил им столом, и они с аппетитом уплетали огромный паштет, запивая его каким-то напитком из каменного кувшина. Коробейник при виде проходившего мимо Аллейна отпустил соленую шутку, а жена его пискливо окликнула юношу, приглашая присоединиться к ним, причем муж, вдруг перейдя от шутливости к бешенству, начал колотить жену своей дубинкой. Аллейн зашагал дальше, опасаясь, что ревнивый супруг разъярится еще больше, и на сердце у него стало очень тяжело. Куда бы он ни поглядел, казалось, он всюду в отношениях человека к человеку видит только несправедливость, насилие и жестокость.

Но когда он, горестно размышляя об этом и тоскуя о сладостной тишине монастыря, вышел на полянку, окруженную кустарником, ему открылось зрелище, наиболее странное из всего увиденного им до сих пор. Неподалеку от дороги тянулись густые заросли, а над ними торчали четыре человеческие ноги, обтянутые двухцветными штанами — одна половина желтая, другая черная. Но самым странным Аллейну показалось то, что вдруг прозвучала заразительно веселая мелодия и четыре ноги начали дергаться и извиваться в такт музыке.

Обойдя на цыпочках заросли, он, пораженный, увидел двух мужчин, плясавших стоя на голове, причем один играл на виоле, другой — на дудке, да так весело и складно, словно оба спокойно сидели на скамьях. Созерцая столь неестественное зрелище, Аллейн даже перекрестился, но ему едва удалось сохранить серьезность, когда оба плясуна заметили его и, подпрыгивая, к нему направились. На расстоянии длины меча от него каждый перекувырнулся в воздухе, упал на ноги и самодовольно улыбнулся, прижимая руки к сердцу.

— Мы ждем награды, награды, о рыцарь с изумленным взором! — воскликнул один из них.

— Мы ждем дара, принц! — заорал другой. — Мы примем любой пустяк — хотя бы кошелек с червонцами или даже кубок, украшенный камнями.

Аллейн вспомнил то, что он читал об одержимых демоном — как они прыгают, извиваются, несут непонятный вздор. Он уже подумал было о заклинаниях, которые предписывалось произносить при подобных встречах с одержимыми; но, взглянув на его испуганное лицо, они громко расхохотались, опять встали на голову и насмешливо шелкнули каблуками.

— Никогда не видал акробатов? — спросил тот, что был постарше, чернобровый, смуглый и гибкий, словно ветка орешника. — Зачем же пугаться, будто мы отродье дьявола?

— Зачем пугаться, милоч? Отчего такой страх, мой сахарный? — подхватил другой, вертлявый, долговязый малый с бегающими, жуликоватыми глазами.

— Верно, господа, зрелище это для меня новое. Когда я увидел ваши ноги над кустами, я глазам своим не поверил. Ради чего проделываете вы такие штуки?

— Не промочив горло, и не ответишь, — воскликнул более молодой, становясь на ноги. — Это весьма пересохший вопрос, красавчик мой! Но что я вижу? Фляжка, фляжка — клянусь всеми чудесами!

Он протянул руку к Аллейну и, выхватив флягу из его сумы, отбил горлышко и опрокинул себе в рот добрую половину содержимого. Остаток он протянул товарищу, тот допил вино, а затем к удивлению клирика, которое все росло, сделал вид, будто проглатывает и фляжку, да так искусно, что Аллейн видел собственными глазами, как она исчезла у него в горле. Правда, через мгновение он швырнул ее через голову и перехватил под своей левой ногой.

— Благодарим вас за вино, добрый сэр, — сказал он, — и за ту любезную готовность, с какой вы его предложили. Возвращаясь к вашему вопросу, можем сообщить вам, что мы странствующие актеры и жонглеры, мы выступали с большим успехом на ярмарке в Винчестере, теперь отправляемся в Рингвуд, на большую ярмарку, которая там бывает на Михайлов день. А так как наше искусство требует большой точности и мастерства, мы не можем и дня пропустить, не упражняясь в нем, для чего отыскиваем какое-нибудь тихое, укромное местечко и там делаем привал. И вот вы видите нас; для нас же нисколько не удивительно, что вы, ничего не зная о кувырканье, поражены: ведь и многие прославленные бароны, герцоги, маршалы и рыцари, побывавшие даже в Святой земле, единодушно уверяли, что никогда не видали столь изящного и благородного зрелища. Если соблаговолите сесть на этот пенек, мы будем продолжать наши упражнения.

Аллейн охотно последовал этому указанию и сел между двумя огромными узлами с одеждой бродячих актеров: там были камзолы из огненного шелка и кожаные пояса, украшенные медными и жестяными бляхами. А жонглеры уже снова стояли на головах, скакали по траве, напрягая шеи, и вместе с тем наигрывали на своих инструментах, превосходно соблюдая такт и лад. Аллейн вдруг заметил, что из одного узла высовывается угол какого-то инструмента, — он узнал цитру, извлек ее, настроил, и вскоре ее звуки присоединились к веселой песенке, которую играли плясуны. Тогда они побросали собственные инструменты и, опершись ладонями о землю, запрыгали все быстрее и быстрее, покрикивая, чтобы он играл живее, и, наконец, все трое так устали, что вынуждены были остановиться.

— Хорошо играешь, милашка! — воскликнул молодой. — У тебя струны поют, когда ты их касаешься, редко кто так умеет. Откуда ты знаешь эту мелодию?

— А я ее и не знал. Я просто следовал звукам, которые слышал.

Оба уставились на него с таким же удивлением, с каким он перед тем смотрел на них.

— Значит, у тебя здорово тонкий слух, — сказал один. — Мы давно желали встретить такого вот человека. Хочешь присоединиться к нам, и вместе потрусим в Рингвуд? Работа у тебя будет легкая, каждый день будешь получать два пенса и вечером мясо на ужин.

— Кроме того, пива, сколько влезет, — добавил другой, — а по воскресеньям — фляжку гасконского.

— Да нет, не смогу я. Мне предстоит другая работа. Я и так тут с вами слишком замешкался, — ответил Аллейн и снова решительно зашагал по дороге.

Они побежали было за ним, предлагая сначала четыре пенса в день, потом шесть, но он только улыбался и качал головой, тогда они наконец отстали. Оглянувшись, он увидел, что тот, который был поменьше, взобрался на плечи к молодому, вместе они стали ростом чуть не в десять футов, и так они стояли и махали ему вслед, прощаясь. Он помахал им в

ответ и заспешил дальше, а на сердце у него стало легче после встречи с этими странными людьми, целью которых было развлекать других.

Несмотря на обилие мелких приключений, Аллейн прошел еще очень мало. Однако молодого клирика, привыкшего к столь спокойному существованию, что нехватка пива или замена одного хораля другим уже казались событиями чрезвычайной важности, быстрая смена теней и света, которыми полна жизнь, поразила и глубоко заинтересовала. Казалось, целая пропасть отделяет эту кипучую, изменчивую жизнь от давно устоявшегося монастырского уклада, сводившегося к чередованию трудов и молитв. Несколько часов, протекших после того, как он в последний раз взглянул на колокольню аббатства, постепенно заполнили его память настолько, что как бы вытеснили долгие месяцы однообразной жизни в монастыре. И когда он на ходу стал есть мягкий хлеб, извлеченный из дорожной сумы, его удивило, что в хлебе все еще сохранялось тепло монастырской печи.

Миновав Пенерлей, состоявший из трех домиков и амбара, он достиг границы лесов, за которыми простирались однообразные заросли вереска, и эти розовые пятна перемежались с бронзой увядающих мхов. Слева по-прежнему тянулась лесная чаща, но дорога уходила от нее в сторону и вилась по открытым местам. Солнце на западе стояло низко, над лиловой тучей, его мягкий, чистый свет озарял вересковые заросли и поблескивал по краю опушки, превращая засохшие листья в чешуйки мертвого золота, сверкавшие тем ярче, чем глубже чернели за ними провалы лесных глубин. Для мудрого взора увядание не менее прекрасно, чем цветение и рост, и смерть — не менее, чем жизнь. Именно эта мысль прокралась в душу Аллейна, когда он созерцал осенний пейзаж и восхищался его прелестью. Однако ему некогда было любоваться слишком долго этим зрелищем: как-никак до ближайшей деревенской гостиницы оставалось еще добрых шесть миль. Юноша присел на обочину дороги, поел хлеба и сыра, а затем с облегченной сумой поспешил дальше.

Оказалось, что в открытой низине путников больше, чем в лесу. Сначала он встретил двух доминиканцев в длинных черных одеждах, они проплыли мимо, опустив взоры, что-то бормоча, и даже не взглянули на него. Затем появился рослый монах, может быть, минорит, с огромным пузом; он шагал не спеша и смотрел по сторонам с видом человека, который пребывает в ладу с собой и со всеми людьми. Он остановил Аллейна и осведомился, верно ли, что в этих местах где-то неподалеку есть гостиница, известная своими тушеными угрями. Когда клирик ответил, что да, он слышал о соулейских угрях, монах зачмокал губами и поспешил дальше. За ним по пятам следовали трое работников, они шли плечо к плечу и несли лопаты и мотыги. Работники пели очень стройно примитивную хоровую песню, но их английский язык был так неотесан и груб, что слуху юноши, воспитанного в монастыре, показался каким-то варварским иноземным наречием. Один из них нес птенчика выпы, пойманного на торфяном болоте,

и они предложили его Аллейну за мелкую серебряную монету. Он был рад, когда благополучно миновал их: торговаться среди вересковых зарослей с этими буйными рыжебородыми и синеглазыми парнями было бы довольно неприятно.

Однако не всегда следует больше всего опасаться самых здоровенных и неотесанных людей. Работники посмотрели ему вслед голодными глазами, а затем поплелись дальше, медленно и неуклюже, как оно и свойственно саксам. Хуже пришлось Аллейну при встрече с хромым калекой, который ковылял по дороге; он был, видимо, до того стар и слаб, что даже ребенок мог бы его не бояться. Однако, когда Аллейн обогнал его, тот вдруг просто со злости бросил ему вслед проклятие, и зазубренный камень пролетел мимо его уха. И так отвратительна была беспричинная ярость этого скрюченного создания, что наш клирик почувствовал озноб и бежал, пока до него уже не могли долететь ни камни, ни слова. Ему стало казаться, что в Англии у человека нет защиты, кроме силы его собственных кулаков и быстроты ног. В монастырях он слышал гуманные разговоры о законе, о его могуществе, стоящем выше могущества прелатов и баронов, но не видел пока никаких признаков этого закона. Что за польза от закона, думал юноша, как бы красиво он ни был написан на пергаменте, если нет служителей закона, чтобы внедрять его в жизнь. Однако в этот же вечер, еще до захода солнца, он стал свидетелем того, насколько неумолимы клещи английского закона, когда им удается захватить виновного.

Если пройти милою или около того по вересковой пустоши, дорога неожиданно ныряет на дно оврага, по которому быстро бежит ручей с коричневатой водой. Вправо от него стоял и стоит до сих пор древний курган, или могильник, покрытый густой щетиной вереска и папоротника. Аллейн, спускаясь по склону, вдруг заметил, что ему навстречу, с противоположного откоса, спускается старуха; она устало прихрамывала и тяжело опиралась на палку. Дойдя до берега ручья, она остановилась, беспомощно озираясь направо и налево и ища брода. Против сбегавшей вниз тропинки в воде лежал камень, но для ее старческих, дрожащих ног он находился слишком далеко от берега. Дважды она пыталась шагнуть на него, дважды отступала и, наконец, в отчаянии опустила наземь и в тоске стала ломать руки. Там она и сидела, когда Аллейн достиг переправы.

— Идите сюда, матушка, — позвал он, — не так уж тут опасно переходить!

— Увы, добрый юноша, — отозвалась она, — глаза иной раз подводят меня. Я хоть и вижу там в воде камень, но не могу сказать точно, где он лежит.

— Ну, этому легко помочь, — весело отозвался Аллейн, легко поднял старуху, ибо годы сильно иссушили ее, и перенес на другой берег. Он не мог не заметить, что, когда он опустил ее наземь, колени у нее подогнулись и ей едва удалось выпрямиться, опираясь на свою палку.

— Вы ослабели, матушка, — заметил он. — Верно, издалека идете?

— Из Уилтшира, дружок, — пояснила она дрожащим голосом, — три дня была я в пути. А иду к сыну, он один из королевских лесных смотрителей в Брокенхерсте. И всегда уверял, что будет заботиться обо мне, когда я состарюсь.

— И это справедливо, мамаша, ведь вы заботились о нем в его юности. А когда вы ели в последний раз?

— В Линдхерсте. Увы, мои деньги пришли к концу, и я смогла получить на них у монахинь только миску похлебки из отрубей. Все же я надеюсь, что нынче же доберусь до Брокенхерста, где смогу иметь все, что душе угодно; ведь, сэр, мой сын — благородный человек, у него доброе сердце, и для меня слаще всякой еды мысль о том, что на нем дорогой зеленый камзол и что он служит самому королю.

— Но ведь до Брокенхерста не ближний свет, — сказал Аллейн. — Вот у меня остались хлеб и сыр, возьмите, и еще один пенни, он даст вам возможность поужинать. Господь Бог да будет с вами!

— Пусть будет с вами Господь Бог, юноша! — воскликнула старуха. — Пусть он пошлет радость вашему сердцу, как вы порадовали мое.

Она отвернулась, все еще бормоча благословения, и Аллейн видел, как сухонькая фигурка и ее длинная тень, спотыкаясь, поднимаются по склону.

Он и сам двинулся было дальше, но его взгляду вдруг предстало странное зрелище, и по коже забегали мурашки.

Из зарослей на старом кургане на него смотрели два лица; заходящее солнце ярко освещало их, подчеркивая каждую черту и морщинку. Одно принадлежало старообразному человеку с жидкой бородкой, крючковатым носом и большим багровым родимым пятном на виске, второй был негр — в те дни их крайне редко можно было встретить в Англии, особенно в южных областях. Аллейн читал, что есть на свете чернокожие люди, но никогда ни одного негра не видел и не в силах был отвести глаз от его толстых, выпяченных губ и сверкающих белизной зубов. Пока он смотрел, эта пара ловко выбралась из кустов и стала красться к нему с явно преступными намерениями, и клирик, решив избежать встречи, заторопился дальше.

Не успел он подняться на склон, как услышал за своей спиной внезапный шум драки и слабый голос, призывавший на помощь. Окинув взглядом дорогу, он увидел на ней старуху с ее развевающимся по ветру красным шарфом; оба негодяя — белый и черный — старались отнять у нее подаренную Аллейном монетку и убогие мелочи, представлявшие хоть какую-нибудь ценность. При виде жалкой старухи, тщетно пытавшейся оказать сопротивление, в сердце Аллейна вспыхнуло столь жгучее негодование, что даже голова закружилась. Бросив на землю суму, он перепрыгнул обратно через ручей и устремился на двух негодяев, размахивая палкой и сверкая глазами.

Однако разбойники были, как видно, не склонны отпустить свою жертву, не выполнив своих злостных намерений. Негр, повязав алый шарф старухи вокруг черной головы, стоял посреди тропки, держа наго-

тове длинный тусклый нож, тогда как другой, размахивая суковатой дубиной, осыпал Аллейна бранью, предлагая подойти поближе. Но и без вызова кровь у юноши кипела. Ринувшись на чернокожего, он ударил его с такой силой, что тот выронил нож на дорожку и, взвывая, отскочил на безопасное расстояние. Однако второй бандит, как видно, более решительного нрава, бросился на клирика, обхватил его вокруг пояса, словно медведь лапами, и крикнул своему сотоварищу, чтобы тот поспешил к нему на подмогу и всадил пленнику нож в спину. Тут негр приободрился, поднял свой кинжал и снова, крадучись, стал подбираться к Аллейну, ступая неслышно, с жадной убиенности в глазах; а тем временем белый и его пленник, вцепившись друг в друга, раскачивались из стороны в сторону. Однако в самый разгар схватки, когда Аллейн уже приготовился к тому, что вот-вот ощутит между лопатками ледяное лезвие ножа, внезапно донесся топот копыт; чернокожий в ужасе взвизгнул и что было сил помчался прочь, через вереск. Разбойник с родимым пятном попытался вырваться, Аллейн услышал, как у него застучали зубы, и почувствовал, как сразу обмякло его тело. Поняв, что приближается помощь, клирик стиснул разбойника еще крепче и наконец придавил его к земле; тут он оглянулся, желая узнать, откуда все эти обнадеживающие звуки. По идущей под уклон дороге на рослой вороной лошади скакал галопом высокий дородный мужчина в мундире из лилового бархата. Он ловко пригнулся к шее лошади и при каждом ее скачке вздергивал плечи, как будто он поднимал коня, а не тот нес всадника. Бросив быстрый взгляд, Аллейн успел заметить, что на нем белые замшевые перчатки, бархатный берет с кудрявым белым пером и широкая, расшитая золотом перевязь на груди. Следом скакало еще шестеро всадников, по двое в ряд, одетых в скромные коричневые куртки, и у каждого из-за правого плеча торчал длинный желтый лук. С громом проскакали они по откосу, перемахнули через ручей и приблизились к месту схватки.

— Одного поймал! — сказал их предводитель, прыгнув со взмыленного коня, и схватил белого разбойника за полу куртки. — Это один из них. Я узнал его по чертовой отметине над бровью. Где твои веревки, Питеркин? Так! Свяжи ему руки и ноги. Пришел его последний час. А вы, молодой человек, кто вы такой?

— Я клирик, сэ,р, иду из Болье.

— Клирик! — воскликнул другой. — Ты из Оксфорда или из Кембриджа? А есть у тебя от принципала твоей коллегии письмо, разрешающее тебе просить милостыню? Ну-ка, покажи. — Лицо у него было квадратное, суровое, с кустистыми бакенбардами и очень недоверчивыми глазами.

— Я из аббатства Болье, и мне просить милостыню незачем, — пояснил Аллейн, который весь трепетал теперь, когда драка была кончена.

— Тем лучше для тебя. — отвечал тот. — А ты знаешь, кто я?

— Нет, сэ,р, не знаю.

— Я закон! — И он важно покивал головой. — Я английский закон и глашатай Его милости Королевского величества Эдуарда Третьего.

Аллейн низко склонился перед представителем короля.

— Поистине вы явились вовремя, уважаемый сэр, — сказал он. — Еще немного — и они прикончили бы меня.

— Но тут должен быть еще второй! — воскликнул всадник в лиловом мундире. — Он чернокожий. Один — моряк, тот, что с родимым пятном, а другой негр, служивший у него поваром, вот парочка, за которой мы охотимся.

— Негр убежал вон в ту сторону, — сказал Аллейн, указывая на курган.

— Он не мог уйти далеко, сэр бейлиф, — заявил один из лучников, натягивая тетиву. — Прячется где-нибудь поблизости, черный язычник. Он отлично знает, что у наших лошадей четыре копыта, а у него только два.

— Значит, мы сцапаем его, — ответил бейлиф. — Пока я бейлиф в Саутгемптоне, никто не скажет, что какой-нибудь растратчик, грабитель, вор или убийца ушел целым и невредимым от меня и моего отряда. Пусть негодяй валяется тут. А вы, мои ребята, стройтесь-ка да возьмитесь за луки, я приглашаю вас на такую охоту, какая бывает только у короля. Ты, Ховет, становись слева, а ты, Томас из Редбриджа, — справа. Так! Стреляйте в вереск, поверху и понизу, меткому стрелку — кувшин вина.

Однако лучникам пришлось искать недолго. Негр забился в яму на склоне холма и мог бы лежать довольно уютно, если бы не красный шарф у него на голове. Когда он приподнялся, чтобы взглянуть сквозь кустарник на своих врагов, яркий цвет шарфа привлек внимание бейлифа, который издал протяжный возглас, пришпорил коня и ринулся вперед, держа в руке меч. Поняв, что его обнаружили, негр выскочил из своего убежища и громадными прыжками что было мочи помчался вниз, мимо выстроившихся лучников, держась, однако, по крайней мере на расстоянии ста шагов от них. Двое, которые находились по обе стороны Аллейна, натянули луки так неторопливо, как если бы им предстояла стрельба по мишени на деревенской ярмарке.

— Семь ярдов упреждения на ветер, Хэл, — сказал один из лучников, с уже седеющей головой.

— Пять, — ответил другой и пустил стрелу.

Аллейн почувствовал, как судорога сжала ему горло, ибо желтая жилка словно пронзила бегущего насквозь; но он еще продолжал мчаться вперед.

— Семь, дуралей, — прорычал первый лучник, и его тетива запела, как струна арфы.

Чернокожий высоко подпрыгнул, выбросил вперед руки и ноги и плашмя упал среди вереска.

— Чок-в-чок, под лопатку! — пояснил лучник и не спеша пошел за своей стрелой.

— Старый пес лучше всего, когда он сдох, — заметил бейлиф из Саутгемптона, и они направились обратно к дороге. — Значит, нынче

вечером разопьем квартиру лучшего малмсея, Мэтью Этвуд. А он действительно мертв, ты уверен в этом?

— Мертв, как Понтий Пилат, уважаемый сэр.

— Ладно. А теперь о другом воре. Деревьев для него хватит, да у нас времени мало. Вытащи-ка свой меч, Томас из Редбриджа, и снеси ему голову.

— Одна просьба, милостивый сэр, одна просьба! — воскликнул приговоренный.

— Какая же? — спросил бейлиф.

— Хочу покаяться в своем преступлении. Действительно, я и мой черный повар, оба с судна «La Rose de gloire»¹ из Саутгемптона, напали на фландрского купца и украли все его пряности, а также бархатные и шелковые ткани, за что, как нам хорошо известно, вы законно и преследуете нас.

— От твоего признания мало пользы, — мрачно заметил бейлиф. — Ты совершил преступление в моем округе и должен умереть.

— Но ведь, сэр, — заметил Аллейн, у которого даже губы побелели от этих кровавых происшествий, — суд еще не рассматривал его дело.

— Юный клирик, — отозвался бейлиф, — вы говорите о делах, в которых ничего не смыслите. Верно, он еще не являлся в суд, но суд явился к нему. Он бежал от закона, и теперь он вне закона. Не касайся того, что не твоя забота. Но какая же у тебя просьба, негодяй, о чем ты хочешь просить?

— В моем башмаке, достопочтенный сэр, спрятана щепка от судна, на котором апостола Павла прибило к острову Мелит. Мне продал эту щепку за два нобля один моряк, плававший в Левант. И я умоляю: вложите мне в руку эту щепку, чтобы я умер, все еще держа ее. Тогда вечное спасение будет обеспечено не только мне, но и тебе, ибо я никогда не перестану ходатайствовать за тебя.

По приказу бейлифа с разбойника сняли башмак и внутри, там, где выгиб ступни, действительно лежала завернутая в кусок ткани длинная темная щепка. При виде ее лучники сняли шапки, а бейлиф, вручая ее разбойнику, благоговейно перекрестился.

— Если бы так случилось, — сказал он, — что благодаря несравненным заслугам святого апостола Павла твоя запятнанная грехами душа все же получит доступ в рай, надеюсь, ты не забудешь о том посредничестве, какое мне обещал. Держи в памяти также и то, что ты должен молиться именно за бейлифа Герварда, а не за шерифа Герварда, это мой двоюродный брат. А теперь, Томас, прошу тебя, поторапливайся. У нас впереди долгий путь, а солнце уже село.

Аллейн смотрел, потрясенный, на всю эту сцену: на одетого в бархат чиновника, на группу суровых лучников, сдерживавших своих коней, и на вора со связанными за спиной руками и спущенной с плеч курткой. У обочины стояла старуха и снова повязывала голову красным шарфом.

¹ Роза славы (франц.).

И вот раздался резкий сильный визг: один из лучников выдернул меч из ножен и шагнул к обреченному. Клирик, охваченный ужасом, поспешил прочь; но не успел он отойти на достаточное расстояние, как услышал тупой удар и тут же предсмертный хрип и свист угасающего дыхания. Минуту спустя бейлиф и четверо его лучников проскакали мимо, возвращаясь в Саутгемптон, двое же были оставлены, чтобы вырыть могилу. Когда всадники проезжали, Аллейн заметил, что один из них вытирает меч о гриву своего коня. При виде этого он почувствовал невыносимую дурноту и, присев на обочине дороги, разрыдался, ибо его нервы не выдержали. Как ужасна жизнь в мире, подумал он; трудно сказать, кто страшнее — разбойники или блюстители закона.

Глава V

КАК В «ПЕСТРОМ КОБЧИКЕ» СОБРАЛАСЬ СТРАННАЯ КОМПАНИЯ

Уже наступила ночь, и луна светила между разорванными бегущими облаками, когда Аллейн Эдриксон наконец добрался до лесной гостиницы на окраине Линдхерста: он стер себе ноги и чувствовал мучительную усталость. Длинное и низкое здание гостиницы стояло несколько в стороне от дороги, а у входа пылали два факела, как бы приветствуя путников. Из окна торчал длинный шест с привязанным к нему пучком зелени — знак того, что в гостинице продаются спиртные напитки. Когда Аллейн подошел ближе, он увидел, что дом сложен из неотесанных бревен и внутри мерцает свет, пробивающийся наружу сквозь все щели и скважины. Крыша соломенная, убогая; но в странном контрасте с ней под карнизом тянулись деревянные, роскошно расписанные щиты с геральдическими стропилами и перевязями и андреевскими крестами, а также всевозможными геральдическими девицами. У двери была привязана лошадь, багровые отблески ярко озаряли ее темную голову и терпеливые глаза, а корпус терялся в тени.

Аллейн приостановился на проезжей дороге, раздумывая, как ему быть. Он знал, что до Минстеда, где жил его брат, остается еще несколько миль. С другой стороны, он не видел брата с детства, а в слухах о нем было мало утешительного. Заявиться к нему и просить пристанища в столь поздний час, — едва ли удачное начало. Не лучше ли переночевать здесь, в этой гостинице, и отправиться в Минстед завтра утром. Если брат примет его — что ж, очень хорошо. Он пробудет у него некоторое время и постарается быть ему полезным. Если же, наоборот, сердце брата ожесточено против Аллейна, — ему останется только продолжать свой путь и найти наилучшее применение своему мастерству рисовальщика и писца. А через год он сможет вернуться в монастырь, ибо такова была последняя воля его отца. Сначала монастырское воспитание, потом, когда ему исполнится двадцать лет, год жизни в миру, затем свободный выбор между миром и монастырем — та-

ков странный путь, намеченный для него отцом. Но как бы там ни было, иного выхода не существовало. И если уж надо подружиться с братом, то лучше подождать до утра и тогда постучаться к нему.

Сколоченная из досок дверь была приоткрыта, но когда Аллейн приблизился к ней, изнутри донесся столь громкий гомон голосов и взрывы грубого хохота, что юноша в нерешительности остановился на пороге. Собрав все свое мужество и сказав себе, что место это общественное и он имеет такое же право войти сюда, как и всякий другой, Аллейн распахнул дверь и вошел.

Хотя этот осенний вечер был сравнительно теплым, на широком открытом очаге трещала, стреляя искрами, огромная груда дров, причем отдельные клубы дыма уходили в примитивную трубу, но большая часть валила прямо в комнату, и дым стоял стеной, так что человек, вошедший снаружи, едва мог продохнуть. На очаге кипел и булькал огромный котел, распространяя вкусный, манящий запах. Вокруг него сидело человек десять—двенадцать самых разных возрастов и сословий. Когда Аллейн вошел, они встретили его такими криками, что он остановился, вглядываясь в них сквозь пелену дыма и недоумевая, что могла означать столь бурная встреча.

— Тост! Тост! — вопил какой-то малый грубого вида в рваной куртке. — Еще раз все выпьем меду или эля за счет последнего гостя!

— Таков уж закон «Пестрого кобчика», — орал другой. — Эй, сюда, госпожа Элиза! Новый гость пришел, а нет ни глотка для всей компании.

— Все, что прикажете, господа, я подам все, что прикажете, — ответила хозяйка, суетливо вбегая в комнату с охапкой кожаных кружек в руках. — Чего же вам подать? Пива для лесных братьев, меду для певца, водки для жестянщика и вина для остальных? Таков здесь старинный обычай, молодой господин. Так принято в «Пестром кобчике» вот уже много лет, компания пьет за здоровье последнего гостя. Вы не откажетесь выполнить этот обычай?

— Что ж, добрая госпожа, — отозвался Аллейн, — я бы не нарушил обычая вашего дома, но должен признаться: мой кошелек весьма тощ. Если двух пенсов хватит, я буду очень рад выполнить то, что от меня требуется!

— Заявлено прямо и сказано смело, мой неопытный монашек, — проревел чей-то бас, и на плечо Аллейна легла тяжелая рука.

Подняв глаза, он увидел подле себя своего недавнего сотоварища по монастырю, отступника Хордла Джона.

— Клянусь колючкой с распятия в Гластонбери! Плохие времена пришли для Болье, — сказал тот. — Только и было мужчин в их стенах, что ты да я, и в один день они избавились от обоих. Я ведь наблюдал за тобой, юноша, и знаю, что хоть лицо у тебя и ребячье, а из тебя может выйти настоящий мужчина. Конечно, есть еще аббат. Правда, я недолюбиваю его, а он меня, но кровь у него в жилах горячая. И теперь среди оставшихся он единственный мужчина. Прочие, что это такое?

— Праведные люди, — ответил Аллейн строго.

— Праведные люди? Праведные кочерыжки! Праведные стручки бобовые! Какое у них дело? Только прозябать, да жрать, да жиреть. Если это называть праведностью, так и кабаны в этом лесу годятся для святцев! Ты думаешь, ради такой жизни даны мне крепкие руки да широкие плечи или тебе твоя голова? В мире есть немало работенки, а сидя за каменными стенами ее не сделаешь.

— Зачем же ты тогда пошел к монахам? — спросил Аллейн.

— Вот честный вопрос, и на него я дам честный ответ. Я пошел к ним потому, что Мэри Олспей из Болдера вышла за горбуна Томаса из Рингвуда и бросила некоего Джона из Хордла за то, что он кутила и бродяга, и нельзя надеяться, что он будет хорошим супругом. Вот почему я, любя ее и будучи человеком горячим, удалился от мира; и вот почему, обдумав все на досуге, я рад, что опять вернулся в этот мир. Горе тому дню, когда я сменил куртку йомена на белую рясу монаха.

Пока он говорил, снова вошла хозяйка, неся большой поднос с кружками и флягами, наполненными до краев коричневым элем и рубиновым вином. За хозяйкой следовала служанка с высокой стопкой деревянных тарелок и деревянными ложками, которые стала раздавать присутствующим.

Двое из них, одетые в полинявшие от непогоды куртки лесников, сняли с очага большой котел, а третий, вооружившись огромным оловянным черпаком, положил каждому порцию нарезанного ломтиками мяса, от которого валил пар. Взяв свою долю и кружку с элем, Аллейн удалился в угол и сел на стоявшие там козлы; тут он мог спокойно поужинать, наблюдая эту странную трапезу, столь непохожую на те трапезы, к которым он привык в монастыре и которые совершались в безмолвии и строгом благочинии. Помещение скорее напоминало конюшню. На низком, закопченном и почерневшем потолке он увидел несколько квадратных люков с дверцами, к ним вели грубо сколоченные лестницы. В стены из неотесанных и некрашенных досок были вставлены в беспорядке натыканы большие деревянные гвозди, и на них висели верхняя одежда, сумы, кнуты, удочки и седла. Вверху, над очагом, было прибито шесть или семь деревянных щитов с намалеванными на них различными гербами. Грязь и копоть, покрывавшие их не в одинаковой мере, свидетельствовали о том, что повешены они в разное время. Никакой мебели Аллейн не заметил, кроме одного длинного кухонного стола и полок с грубой глиняной посудой, а также нескольких деревянных скамей и козел, чьи ножки глубоко ушли в мягкий глиняный пол; освещение, помимо очага, состояло из трех факелов, воткнутых в подставки на стенах, они мерцали и потрескивали, издавая сильный запах смолы. Все это казалось воспитаннику монастыря новым и странным, но самым интересным был пестрый круг гостей, сидевших перед огнем и поедавших свои порции мяса. Здесь находилась группа скромных, обычных путников, каких в ту ночь вы встретили бы в любой гостинице на английской земле от края ее и до края; но для Аллейна они как бы представляли тот неведомый

мир, от которого его так часто и так строго предостерегали. Однако, на основании того, что он видел, этот мир не казался ему в конце концов чем-то таким уж дурным.

Трое-четверо из сидевших у огня были, очевидно, лесниками и объездчиками — загорелые и бородатые люди с живым, зорким взглядом и быстрыми движениями, подобными движениям оленей, среди которых проходит их жизнь. У самого очага расположился бродячий музыкант средних лет, в выцветшем платье из нориджского сукна; камзол до того сел, что уже не сходил ни у горла, ни на поясе. Лицо у него было обветренное и опухшее, а водянистые глаза навывкате свидетельствовали о том, что существование его протекает неподалеку от кувшина с вином. Одной рукой он прижимал к себе позолоченную арфу — арфа была вся в пятнах, и на ней не хватало двух струн, — а другой жадно вычерпывал ложкой содержимое своей тарелки. Рядом с ним сидели еще двое, примерно того же возраста, у одного плащ был оторочен мехом, что придавало ему достойный вид, которым, он, должно быть, дорожил больше, чем удобством, ибо то и дело запахивался в плащ, невзирая на жар от пылающих дров в очаге. У другого, одетого в грязно-рыжий длинный просторный камзол, было хитрое, лисье лицо, с жадными подмигивающими глазами и острой бородкой. Подле него сидел Хордл Джон и еще три нечесаных грубых парня со свалывшимися бородами и растрепанными космами — это были вольные работники с соседних ферм, ибо кое-где еще сохранились посреди королевских поместий участки мелких землевладельцев. Эту компанию дополнял крестьянин, одетый в грубую куртку из овчины и старомодные штаны, и молодой человек в полосатом плаще с зубчатыми полами и в разноцветных штанах, глядевший вокруг с глубоким презрением; одной рукой он то и дело подносил к носу флакон с нюхательной солью, другая держала ложку, которой он усердно работал. В углу, на связке соломы, раскинув руки и ноги, лежал человек необычайно жирный, он густо храпел и, видимо, находился в последней стадии опьянения.

— Это Уот, рисовальщик, — пояснила хозяйка, садясь подле Аллейна и указывая черпаком на храпевшего толстяка. — Он рисует гербы и вывески. Увы мне, что я имела глупость доверять ему! А теперь скажите-ка, молодой человек, что, по-вашему, за птица пестрый кобчик и подходящее ли это название для моей гостиницы?

— Ну, — ответил Аллейн, — кобчик — родич орла и сокола. Я хорошо помню, как ученый брат Варфоломей — а он глубоко проник во все тайны природы — однажды показал мне такую птицу, когда мы вместе шли неподалеку от Винни Риджа.

— Ага, сокола или, допустим, орла? И пестрый, то есть двух различных цветов? Так сказал бы всякий, но только не эта бочка вранья. Он пришел ко мне, видите ли, и заявил, что если я предоставлю ему галлон эля, чтобы подкрепить его силы во время работы, а также доску и краски, он нарисует мне благородного пестрого кобчика и я смогу повесить его вместе с гербами над дверью гостиницы. И я, дура

несчастливая, дала ему и эля и все, что он потребовал, и оставила одного — ведь он уверял, будто человека никак нельзя тревожить, если ему предстоит важная работа. Вернулась я, а кувшин-то с целым галлоном эля пуст, сам он валяется вот как сейчас, а перед ним на полу доска с этим жутким девизом...

Она подняла доску, прислоненную к стене, и показала грубый набросок костлявой птицы, тощей и голенастой, с пятнистым телом.

— Неужели это похоже на ту птицу, которую ты видел? — спросила она.

Аллейн, улыбаясь, покачал головой.

— Нет, — продолжала хозяйка, — и ни на какое-либо пернатое создание. Это скорее всего похоже на ошипанную курицу, подохшую от куриного тифа. Что бы сказали такие господа, как сэр Николас Борхэнт или сэр Бернارد Брокас из Рошкура, кабы они увидели такую штуку, а может быть, даже и его величество король собственной персоной: он ведь частенько проезжает верхом по этой дороге и любит своих соколов, как родных сыновей? Пропала бы тогда моя гостиница!

— Дело это поправимое, — сказал Аллейн. — Прошу вас, добрая госпожа, дайте мне эти три горшка с краской и кисть, я посмотрю, что можно сделать с этой мазней.

Госпожа Элиза недоверчиво посмотрела на него, словно опасаясь нового подвоха, но так как эля он не попросил, она все же принесла краски и стала смотреть, как он заново грунтует доску, в то же время она рассуждала о людях, собравшихся перед очагом.

— Этим четверым лесникам скоро пора; они живут в Эмери Даун, за мило или побольше отсюда. Они доезжачие при королевской охоте. Музыканта зовут Флойтинг Уилл. Сам он с севера, но уж много лет бродит по лесам от Саутгемптона до Крайстчерча. Много пьет и мало платит, но у вас сердце перевернулось бы, если бы вы услышали, как он поет песню о Хенди Тобиасе. Может, он и споет ее, когда эль его согреет.

— А кто эти, рядом с ним? — спросил Аллейн, крайне заинтересованный. — Тот, в отороченном мехом плаще, у него такое умное почтенное лицо?

— Он торгует пилюлями, целебными мазями, средствами от насморка и флюсов и всякими-всякими лекарствами. На его рукаве, как видите, знак святого Луки, первого врача. Пусть добрый святой Фома Кентский подольше убережет меня и моих близких от необходимости обращаться к нему за помощью. Он сегодня вечером здесь, так как собирал травы. Другие — тоже, кроме лесников. А сосед его — зубодер. Сумка на поясе у него полна зубов, он выдрал их на ярмарке в Винчестере. Уверена, что там больше здоровых, чем испорченных, он слишком скор на руку, да и зрение слабовато. Здоровяка рядом с ним я вижу в первый раз. Все четверо на этой стороне вольные работники, трое работают у бейлифа, который на службе у сэра Болдуина Редверса, а четвертый, тот, в овчине, говорят, один крепостной из центральных графств, он убежал от своего хозяина. Наверно, ему скоро срок стать свободным человеком.

— А тот? — шепотом спросил Аллейн, — наверно, это очень важная особа, ведь он как будто презирает всех и вся?

Хозяйка посмотрела на него материнским взглядом и покачала головой.

— Плохо знаете вы людей, — сказала она, — иначе вам было бы известно, что как раз мелкота и задирает нос, а не важные особы. Взгляните на эти щиты на моей стене и под моими карнизами, каждый из них — герб какого-нибудь благородного лорда или доблестного рыцаря, которые когда-либо ночевали под моей крышей. Но более мягких и нетребовательных людей я не видела: они ели мою свинину и пили мое вино с самым довольным видом, а оплачивая счета, отпускали шутку или любезное словцо, а это дороже всякой выгоды. Вот настоящие аристократы. А коробейник или медвежий вожак сейчас начнет клясться, будто в вине чувствуется известь, а в эле — вода, и в конце концов, хлопнув дверью, уйдет с проклятием вместо благословения. Вот тот юноша — школяр из Кембриджа, там людей стараются поскорее выпроводить с кое-какими знаниями, они разучились работать руками, изучая законы римлян. Однако мне пора идти стелить постели. Да охраняют вас святые угодники и да будут успешны ваши начинания.

Предоставленный самому себе, Аллейн подтащил свои козлы к тому месту, которое было ярко освещено одним из факелов, и продолжал работать с присущим опытному мастеру удовольствием, в то же время прислушиваясь к разговорам у очага. Крестьянин в овчине, просидевший весь вечер в угрюмом безмолвии, выпив флягу эля, так разгорячился, что заговорил очень громко и сердито, сверкая глазами и сжимая кулаки.

— Пусть сэр Хамфри из Ашби сам пашет свои поля вместо меня, — кричал он. — Довольно замку накрывать своею тенью мой дом! Триста лет мой род изо дня в день гнул спину и обливался потом, чтобы всегда было вино на столе у хозяина и он всегда был сыт и одет. Пусть сам теперь убирает со стола свои тарелки и копает землю, коли нужно.

— Правильно, сын мой, — отозвался один из вольных работников. — Вот кабы все люди так рассуждали!

— Он с удовольствием продал бы вместе со своими полями и меня! — крикнул крепостной голосом, охрипшим от волнения. — «Мужа, жену и весь их приплод», как сказал дуралей-бейлиф. Никогда вола с фермы не продавали так легко. Ха! Вот проснется он однажды темной ночью, а пламя ему уши щекочет, ведь огонь — верный друг бедняка, и я видел дымящуюся грудку пепла там, где накануне стоял такой же замок, как и Ашби.

— Вот это храбрый малый! — воскликнул другой работник. — Не боится высказать вслух то, что люди думают. Разве не все мы произошли от чресл Адамовых, разве у нас не та же плоть и кровь и не тот же рот, которому необходима пища и питье? Так при чем же тут разница между горностаевым плащом и кожаной курткой, если то, что они прикрывают, одинаковое?

ПОДВИГИ БРИГАДИРА ЖЕРАРА



I

КАК БРИГАДИР ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение, — почтя меня, вы платите дань уважения и Франции и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий ее вином; перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат — тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть саблей раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. Двадцать лет мы учили Европу, как нужно воевать, а когда научили, то только термометр, но не штык оказался причиной поражения Великой армии. Своих лошадей мы ставили в конюшни Неаполя, Берлина, Вены, Мадрида, Лиссабона и Москвы. Да, друзья мои, еще раз говорю: вы не зря посылаете ко мне ваших детей с цветами, ибо эти уши слышали громкие трубы Франции, а эти глаза видели ее знамена в таких местах, где, быть может, никто их уже не увидит.

Даже теперь, стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины — егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый, глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней, и Лефевр с бульдожьей челюстью, и чванливый, как истый гасконец, Ланн; и, наконец, среди сверкающей меди и развевающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут снам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла, выбрасываю, как шальной, руку вперед и ору не своим голосом, а мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней.

Но хотя к концу наших кампаний я был полным бригадиром и имел все основания надеяться, что скоро буду дивизионным генералом, все же, когда мне хочется рассказать о радостях и тяготах солдатской жизни, я вспоминаю о первых годах своей службы. Вы сами понимаете: если у офицера под началом множество людей и коней, у него столько забот с рекрутами и конским пополнением, с фуражом и кузнецами, что жизнь для него — штука нелегкая, даже если он противника еще и



в глаза не видал. Но если он всего-навсего лейтенант или капитан, то на его плечах нет никакой тяжести, кроме разве эполет, так что он может в свое удовольствие брэнчать шпорами, щеголять доломаном, пропускать стаканчик и целовать свою девушку, не думая ни о чем, кроме амурных похождений. Вот в такое-то время у него бывает немало всяких приключений — об этой поре моей жизни я много мог бы вам рассказать. Пожалуй, сегодня я расскажу вам о том, как я побывал в Черном замке, о необычной цели, которой задался младший лейте-

нант Дюрок, и о страшной стычке с человеком, которого раньше звали Жаном Карабеном, а потом бароном Штраубенталем.

Надо вам сказать, что в феврале 1807 года, сразу после взятия Данцига, майору Лежандру и мне было поручено привести из Пруссии в Восточную Польшу четыреста голов нового конского пополнения.

Жестокие морозы, а особенно великое сражение под Эйлау истребили столько лошадей, что нашему прекрасному Десятому гусарскому полку угрожала опасность превратиться в батальон легкой кавалерии. Поэтому мы с майором знали, что на передовых позициях нас встретят с радостью. Продвигались мы еле-еле — лежал глубокий снег, дороги были сушей пыткой, а помогали нам всего человек двадцать раненых, возвращающихся в строй. Кроме того, если у вас запас фуража всего на сутки, а иногда и того нет, трудно заставить коней идти иначе как шагом. Знаю, знаю — в исторических книжках кавалерия всегда несетя бешеным галопом; но я, участвовавший в двенадцати кампаниях, говорю: слава богу, если моя бригада идет шагом на марше, зато умеет рысью скакать на врага. Заметьте, это я говорю о гусарах и егерях, а уж что касается кирасиров или драгун — то тем более.

Я большой любитель лошадей, и мне было приятно, что у меня их целых четыре сотни, всех возрастов и всех мастей, и у каждой свой нрав. Большинство лошадей было из Померании, но попало несколько из Нормандии и Эльзаса, и мы, бывало, потешались, наблюдая, как они отличаются друг от друга характером — точь-в-точь как жители тех мест. Мы заметили также — и это потом не раз подтверждалось, — что характер лошади можно определить по масти; светло-гнедые, например, кокетливы, нервны и со всякими причудами, каурые имеют отважный нрав, чалые послушны, а пегие упрямы. Все это, конечно, не имеет касательства к моей истории, но как же иначе старому кавалеристу вести свой рассказ, если все началось с того, что ему дали четыре сотни лошадей? У меня, знаете ли, такая привычка — говорить о том, что меня интересует, — ну, надеюсь, что и вам это будет интересно.

Мы перешли через Вислу напротив Мариенвердера и должны были двигаться дальше, к Ризенбергу, как вдруг в мою каморку в почтовой конторе, где мы остановились на постой, вошел майор Лежандр с какой-то бумагой в руке.

— Вам придется меня покинуть, — сказал он с выражением отчаяния на лице.

Мне-то отчаиваться было нечего: по правде говоря, он не заслуживал такого помощника, как я. Но все же я молча отдал честь.

— Вот приказ генерала Лассалья, — продолжал майор. — Вы должны немедленно отправиться в Россель и явиться в штаб-квартиру полка.

Ничто не могло доставить мне большего удовольствия. Я уже был на хорошем счету у начальства. Стало быть, полку предстоит какое-то сражение, и Лассаль понял, что моему эскадрону без меня не обойтись. Правда, приказ пришел не совсем вовремя, ибо у почтмейстера была дочь — молоденькая черноволосая полька с кожей цвета слоновой

вой кости — и я рассчитывал поболтать на свободе с этой девичей. Но пешке не приходится возражать, когда палец шахматиста передвигает ее с одного квадрата на другой, так что я сошел вниз, оседлал своего рослого вороного коня по кличке Барабан и тотчас же пустился в путь.

Ей-богу, для бедных поляков и евреев, живших беспросветно унылой жизнью, было, наверное, сущей отрадой видеть, как я скачу мимо их дверей. В морозном утреннем воздухе мощные ноги, великолепные спина и бока моего черного Барабана лоснились и переливались при каждом движении. А у меня и сейчас от стука копыт по дороге и звона уздечки при каждом взмахе дерзкой головы кровь начинает бурлить в жилах — представьте же себе, каков я был в двадцать пять лет — я, Этьен Жерар, лучший кавалерист и первая сабля во всех десяти гусарских полках. Цвет нашего Десятого полка был голубой — небесно-голубой доломан и ментик с алой грудью. В армии говорили, что, увидев нас, население бежит со всех ног: женщины — к нам, а мужчины — от нас. Тем утром в окнах Ризенберга блестела не одна пара глазок, словно моливших меня чуточку задержаться, но что оставалось делать солдату — только послать воздушный поцелуй да позвенеть уздечкой, проскакав мимо.

Мало приятного в такую стужу трусить верхом по самой бедной и некрасивой стране во всей Европе, но небо зато было ясное, и огромные снежные поля искрились под ярким холодным солнцем. В морозном воздухе пар клубился у меня изо рта и белыми султанчиками вылетал из ноздрей Барабана, а с удил свисали сосульки. Чтобы согреть коня, я пустил его рысью; самому же мне нужно было столько обдумать, что я не обращал внимания на мороз. К северу и югу тянулись бесконечные равнины с редкими группками елей и чуть более светлых лиственниц. Там и сям виднелись домишки, но всего три месяца назад этим путем прошла Великая армия, а вы знаете, что это значит для страны. Поляки были нам друзья, это верно, но из сотни тысяч солдат только у гвардейцев были фургоны с продовольствием, а остальных приходилось самим заботиться о пропитании. Так что меня нисколько не удивило, что нигде нет и признаков скота, а над безмолвными домами не вьется дым. Не очень-то благоденствовала страна после посещения великого гостя. Говорили, будто там, где император провел своих солдат, даже крысы подышали с голоду.

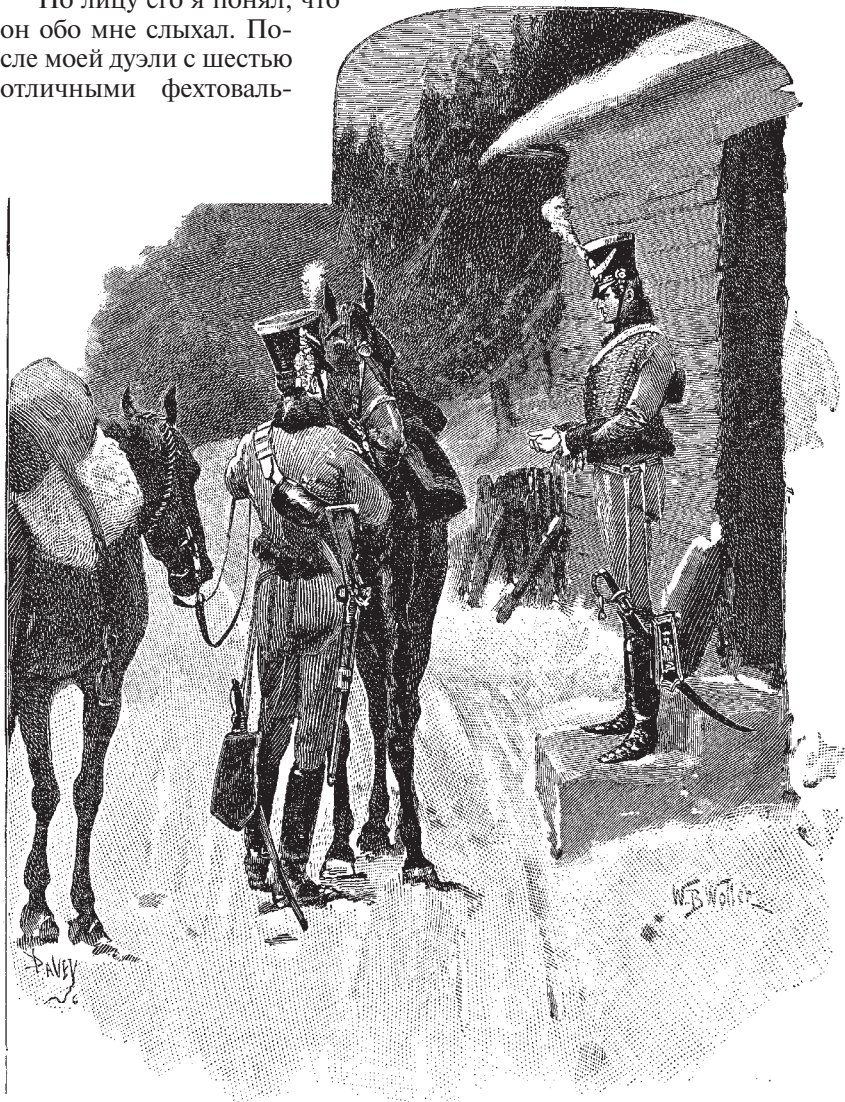
К полудню я доехал до деревни Саальфельдт, но так как отсюда шел прямой путь на Остероде, где находилась зимняя ставка императора, а также главный лагерь семи пехотных дивизий, то дорога была забита каретами и повозками. Очутившись среди артиллерийских зарядных ящиков, фургонов, курьеров и все возрастающей толпы новобранцев и отставших от своих частей солдат, я смекнул, что мне, пожалуй, долго придется добираться до своих товарищей. Но на полях лежал снег глубиной в пять футов, и мне ничего не оставалось, как плестись шагом по дороге. Поэтому я немало обрадовался, увидев вторую дорогу, которая отходила от главной и тянулась через еловый лес к северу. На перекрестке стояла маленькая корчма, а у дверей ее сади-

лись на лошадей дозорные Третьего Конфланского полка гусар — того самого, где я был потом полковником. На ступеньках стоял их офицер, тщедушный, бледный юноша, смахивавший больше на молодого семинариста, чем на командира этих отчаянных головорезов.

— Добрый день, сударь, — сказал он, видя, что я придержал лошадь.

— Добрый день, — ответил я ему. — Я лейтенант Этьен Жерар из Десятого гусарского.

По лицу его я понял, что он обо мне слышал. После моей дуэли с шестью отличными фехтоваль-



щиками имя мое стало известно всем. Однако мое простое обращение согнало с него робость.

— Я младший лейтенант Дюрок из Третьего, — представился он.

— Недавно в полку? — спросил я.

— С неделю.

Так я и думал, судя по его бледному лицу и по тому, что он позволил своим солдатам ротозейничать возле нас. Не так уж давно я сам испытал на себе, каково школьнику командовать кавалеристами-ветеранами. Помню, я заливался краской, когда мне приходилось адресовать отрывистые слова команды людям, у которых за плечами было больше сражений, чем у меня лет, мне было бы гораздо легче сказать: «С вашего позволения мы сейчас построимся» или «Если вы не возражаете, мы пойдем рысью». Поэтому я не стал осуждать юнца, заметив, что его люди немного распушены, но бросил на них такой взгляд, что они застыли в седлах.

— Позвольте спросить, мсье, куда вы направляетесь по этой северной дороге? — обратился я к молодому офицеру.

— Мне приказано нести дозор до Аренсдорфа.

— С вашего разрешения я поеду с вами, — сказал я. — Очевидно, окольным путем доедешь быстрее.

Так и оказалось, ибо эта дорога уводила от армии в места, где хозяйничали казаки и мародеры, и дорога была настолько же пустынна, насколько первая переполнена. Мы с Дюроком ехали впереди; сзади стучали копытами лошади наших шестерых солдат. Он был славный малый, этот Дюрок, хоть и напичкан всяким вздором, которому учат в Сен-Сире, и об Александре и Помпее знал больше, чем о том, как задать корму лошади или ухаживать за конскими копытами. И все же, как я уже сказал, малый он был славный, еще не испорченный походной жизнью. Я с удовольствием слушал его болтовню о матери и сестричке Мари, живших в Амьене. Наконец мы очутились у деревни Хайенау. Дюрок подъехал к почте и вызвал почтмейстера.

— Не скажете ли, — спросил он, — живет ли в ваших краях человек, называющий себя бароном Штраубенталем?

Почтмейстер покачал головой, и мы двинулись дальше. Я не обратил внимания на его вопрос, но, когда в следующей деревне мой спутник повторил его и получил тот же ответ, я не удержался и спросил, кто такой этот барон Штраубенталь.

Мальчишеская физиономия Дюрока вдруг зарделась.

— Это человек, — сказал он, — к которому у меня есть очень важное поручение.

Это, конечно, мало что мне объяснило, но по его виду я понял, что дальнейшие расспросы были бы ему неприятны, и я промолчал, а Дюрок продолжал спрашивать каждого встречного крестьянина о бароне Штраубентале.

Я же, со своей стороны, старался, как и положено офицеру легкой кавалерии, составить себе представление о рельефе местности, опре-

делить направление рек и запомнить места, где должен быть брод. С каждым шагом мы удалялись от лагеря, который мы объехали кругом. Далеко на юге в морозном небе виднелись столбы серого дыма — там располагалось наше сторожевое охранение. На севере же, между нами и зимними квартирами русских, не было никого. На самом краю горизонта я дважды видел поблескивание стали и указал на это моему спутнику. Расстояние не позволяло нам определить, что именно блеснуло, но мы не сомневались, что это были казачьи пики.

Солнце уже клонилось к западу, когда мы поднялись на небольшую горку и увидели справа деревушки, а слева — высокий темный замок, окруженный хвойным лесом. Навстречу нам ехал на телеге крестьянин — лохматый, угрюмый парень в овчинном полушубке.

— Что это за деревня? — спросил Дюрок.

— Это Аренсдорф, — ответил тот на варварском немецком наречии.

— Значит, ночевать я должен здесь, — сказал мой юный спутник. Затем, повернувшись к крестьянину, задал свой неизменный вопрос: — Не знаешь ли, где живет барон Штраубенталь?

— Да вон там, в Черном замке, — сказал крестьянин, указывая на темные башенки над далеким лесом.

Дюрок слегка вскрикнул, как охотник, увидевший взлетевшую дичь. Похоже было, что малый лишился ума — глаза его засверкали, лицо покрылось смертельной бледностью, а губы скривила такая улыбка, что крестьянин невольно шарахнулся в сторону. Как сейчас вижу: юноша весь подался вперед на своем караковом коне, жадно глядясь в высокую темную башню.

— Почему вы называете этот замок Черным? — спросил я.

— Да так его все зовут в здешних местах, — сказал крестьянин. — Говорят, там творятся какие-то черные дела. Не зря же самый отъявленный нечестивец в Польше живет здесь уже четырнадцать лет.

— Он польский дворянин?

— Нет, у нас в Польше такие злодеи не водятся, — ответил он.

— Неужели француз? — воскликнул Дюрок.

— Говорят, он из Франции.

— А он не рыжий?

— Рыжий, как лиса.

— Да, да, это он! — воскликнул мой спутник, от волнения дрожа с головы до ног. — Меня привела сюда рука Провидения! Пусть не говорят, что на земле нет справедливости. Едем, мсье Жерар, я должен сначала определить своих солдат на постой, а потом уже заниматься собственными делами.

Он пришпорил лошадь, и через десять минут мы подъехали к дверям аренсдорфского постоялого двора, где должны были ночевать солдаты.

Но дела моего спутника меня не касались, и я даже не мог себе представить, что все это значит. До Росселя путь был неблизкий, но я решил проехать еще несколько часов, а потом в каком-нибудь придорожном амбаре найти ночлег для себя и Барабана. Выпив кружку

вина, я вскочил на лошадь, но из гостиницы вдруг выбежал Дюрок и схватил меня за колено.

— Мсье Жерар, — часто дыша, заговорил он. — Прошу вас, не бросайте меня одного!

— Дорогой Дюрок, — ответил я, — если вы мне объясните, в чем, собственно, дело и чего вы от меня хотите, то мне будет легче ответить, смогу ли я вам помочь или нет.

— Да, вы мне могли бы очень помочь! — воскликнул он. — Судя по тому, что я о вас слышал, вы единственный человек, которого я хотел бы иметь рядом этой ночью.

— Вы забываете, что я направляюсь в свой полк.

— Сегодня вы все равно до него не доедете. Вы будете в Росселе завтра. Оставайтесь со мной, вы окажете мне огромную услугу и поможете в одном деле, которое касается моей чести и чести моей семьи. Но должен вам признаться, что дело это сопряжено с немалой опасностью.

Это был ловкий ход. Конечно, я тотчас же соскочил со спины Барабана и велел слуге отвести его в конюшню.

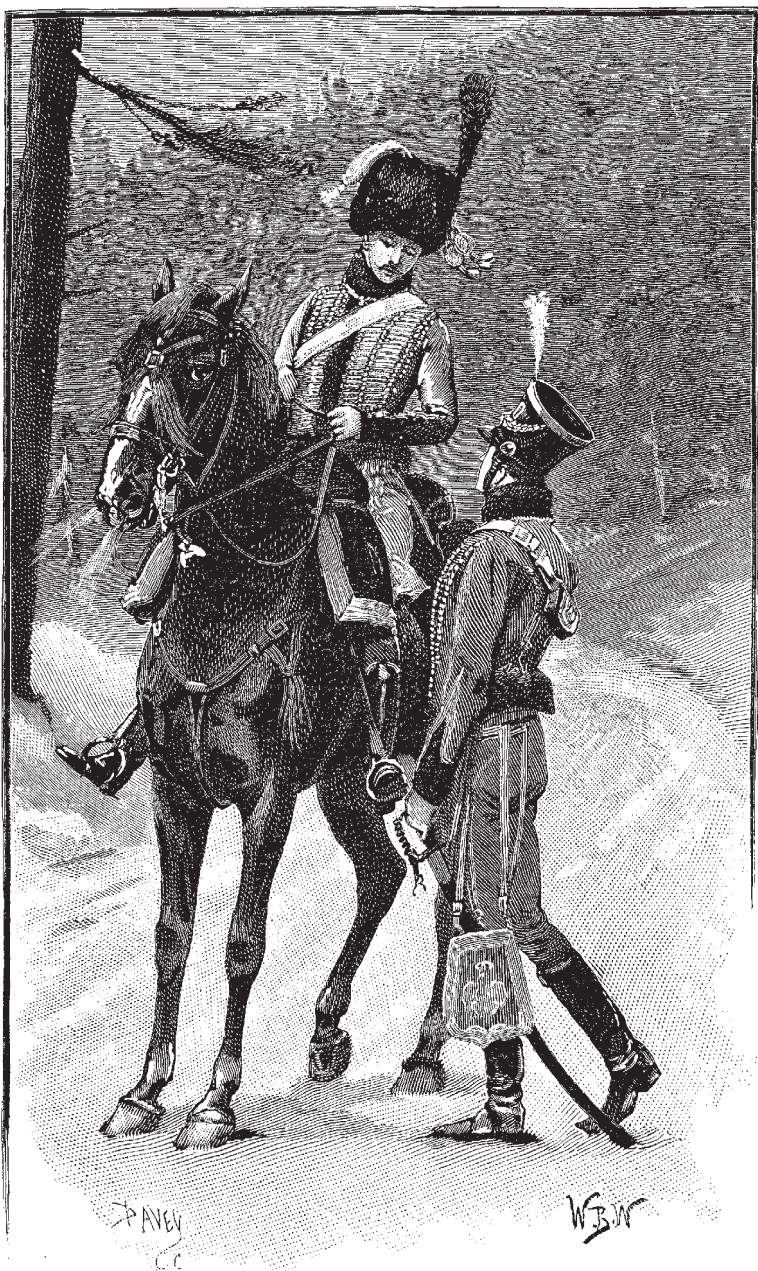
— Идемте в дом, — сказал я, — и вы объясните, что от меня требуется.

Он провел меня в комнатку вроде гостиной и запер дверь, чтобы нам не помешали. Он был ладно скроен, этот мальчик; свет лампы освещал его серьезное лицо и очень шедший ему серебристо-серый мундир. Я глядел на него, и во мне поднималось теплое чувство к этому юнцу. Не скажу, чтобы он держался точно так, как я в его годы, но было в нас нечто схожее, и я проникся к нему симпатией.

— В двух словах всего не расскажешь, — сказал он. — Если я до сих пор не удовлетворил вашего вполне законного любопытства, то только потому, что мне очень трудно об этом говорить. Однако я, разумеется, не могу просить вашей помощи, не объяснив, в чем дело.

Должен вам сказать, что мой отец, Кристоф Дюрок, был известным банкиром; его убили во время сентябрьской резни. Как вам известно, толпа осадил тюрьмы, выбрала трех так называемых судей, чтобы устроить суд над несчастными аристократами, и тех, кого выводили на улицу, тут же раздирали в клочья. Мой отец всю жизнь оказывал помощь беднякам. У него нашлось много заступников. Он был изнурен лихорадкой, и его, полуживого, вынесли на одеяле. Двое судей склонялись к тому, чтобы оправдать его; третий же, молодой якобинец, могучий детина, который верховодил этими несчастными, стащил моего отца с носилок, стал пинать своими тяжелыми башмачищами, а потом вышвырнул за дверь, где его мгновенно растерзали на куски, но об этих ужасных подробностях мне тяжело говорить. Как видите, это было убийство даже с точки зрения их незаконных законов, ибо двое их же собственных судей выступили в защиту моего отца.

Когда снова воцарился порядок, мой старший брат стал разыскивать того человека — третьего судью. Я тогда был еще совсем мальчишкой, но это семейное дело обсуждалось в моем присутствии. Того



— Мсье Жерар, — часто дыша, заговорил он. — Прошу вас,
не бросайте меня одного!

детину звали Карабеном. Он был из гвардии Сантерра и славился как ярый дуэлянт. Когда якобинцы схватили одну даму — иностранку, баронессу Штраубенталь, — он добился ее освобождения, взяв с нее слово, что она будет принадлежать ему. Он женился на ней, присвоил ее имя и титул и после гибели Робеспьера удрал из Франции. Мы так и не смогли узнать, что с ним случилось.

Вы, наверное, думаете, что, зная его имя и титул, мы легко могли бы его разыскать. Но вспомните, что революция лишила нас денег, а без денег вести поиски было невозможно. Затем настала Империя, и дело для нас осложнилось еще больше, потому что, как вам известно, император считал, что 18 брюмера уладило все счеты и что с этого дня над прошлым опущена завеса. Но мы не забывали нашу семейную трагедию и не отказывались от своих планов.

Брат мой вступил в армию и прошел вместе с ней всю Южную Европу, везде расспрашивая о бароне Штраубентале. Брат был убит под Йеной прошлой осенью, в октябре, так и не отмстив. Теперь настала моя очередь продолжать дело, и мне посчастливилось: через две недели после вступления в полк в одной из первых же польских деревень я нашел человека, которого мы искали столько лет. Больше того, у меня оказался спутник, имя которого в армии произносят не иначе, как в связи с каким-нибудь смелым или благородным поступком.

Все это прекрасно, и я слушал его с большим интересом, но все-таки мне ничуть не стало яснее, чего же хочет от меня юный Дюрок.

— Чем могу вам служить? — спросил я.

— Поедемте со мной.

— В замок?

— Именно.

— Когда?

— Немедленно.

— А что вы намерены делать?

— Там посмотрим. Но я хочу, чтобы вы были со мной.

По правде сказать, не в моем характере отказываться от приключений, и, кроме того, я сочувствовал этому малому. Прощать своих врагов — это, конечно, хорошо, но желательно, чтобы и у них тоже было что прощать нам. Я протянул ему руку.

— Завтра утром я должен ехать в Россель, но сегодня я к вашим услугам, — сказал я.

Устроив солдатам удобный ночлег, мы оставили их на постоялом дворе, и так как до замка было не больше мили, мы решили не тревожить лошадей. Откровенно говоря, мне противно видеть кавалериста, идущего пешком: насколько он великолепен в седле, настолько же неуклюж, когда шагает, придерживая рукой саблю и ставя носки внутрь, чтобы колесики шпор не цеплялись друг за друга. Но мы с Дюроком были в таком возрасте, когда человека ничто не портит, и могу поклясться, что ни одна женщина не поморщилась бы при виде двух молодых гусар — одного в голубом, другого в сером, которые в тот вечер

вышли из аренсдорфской почтовой конторы. Мы оба были при саблях, а я еще вынул пистолет из кобуры и сунул под ментик, ибо чувствовал, что нам сегодня придется жарко.

Дорога к замку шла через непроглядно темный еловый лес; мы не видели ни зги, и только звезды иногда поблескивали вверху. Вскоре, однако, лес расступился, и прямо перед нами на расстоянии выстрела из карабина показался замок. Это было огромное неуклюжее здание, судя по всему, очень древнее, с круглыми башенками на каждом углу и большой прямоугольной башней на той стороне, что была ближе к нам. Во всей этой темной массе не видно было ни огонька, кроме одного светящегося окна, и ни звука не доносилось оттуда. Мне казалось, что в этой громаде, в ее безмолвии таится что-то зловещее, чему как нельзя больше отвечало название замка. Моему спутнику не терпелось поскорее добраться до него, и я зашагал вслед за ним по плохо расчищенной дороге, которая вела к воротам.

У обитых железом ворот не было ни колокола, ни молотка, и, чтобы привлечь к себе внимание, нам пришлось колотить рукоятками сабель. Наконец ворота приоткрылись, и мы увидели тощего старика с ястребиным лицом, заросшего бородой до самых висков. В одной руке у него был фонарь, другой он придерживал рвущуюся с цепи огромную черную собаку. Он грозно взглянул на нас, но при виде наших мундиров лицо его стало замкнуто-угрюмым.

— Барон Штраубенталь в такое позднее время никого не принимает, — сказал он на отличном французском языке.

— Можете передать барону Штраубенталю, что я проехал восемьсот лиг, чтобы повидать его, и не уйду, пока не повидаю, — заявил мой спутник таким голосом и с таким выражением, что я сам не мог бы сказать лучше.

Страж искоса взглянул на нас, нерешительно теребя свою черную бороду.

— Сказать по правде, господа, — произнес он, — барон уже выпил кружку-другую вина и будет для вас гораздо более интересным собеседником, если вы придете завтра утром.

Он приоткрыл ворота чуточку шире, и за его спиной в освещенном дворе я увидел еще троих молодцов довольно зверского вида; один из них держал на цепи второго, такого же чудовищного пса. Дюрок, должно быть, тоже увидел их, но это нисколько не повлияло на его решимость.

— Довольно болтать, — сказал он, оттолкнув стража в сторону. — Я буду разговаривать только с твоим хозяином.

Молодцы в холле расступились, и он прошагал мимо них — так велика власть одного человека, знающего, чего он хочет, над несколькими, не слишком уверенными в себе. Мой спутник властно, как хозяин, тронул одного из них за плечо.

— Проведи меня к барону, — сказал он.

Стражник передернул плечами и ответил что-то по-польски. Никто, кроме бородатого, который уже успел прикрыть и запереть ворота, по-видимому, не говорил по-французски.

— Хорошо, проведем, — зловеще усмехнулся он. — Вы увидите барона. И, думается мне, пожалеете, что не послушались моего совета.

Мы пошли за ним через обширный холл с каменным, покрытым шкурами полом и головами диких зверей на стенах. Бородатый открыл дверь в дальнем его конце, и мы вошли.

Это была маленькая, скудно обставленная комната с теми же признаками обветшалости и запустения, которые нам встречались на каждом шагу. Вылинявшая обивка на стенах отстала в одном углу, обнажая грубую каменную кладку. В противоположной стене была вторая дверь, прикрытая драпировкой. Посредине стоял квадратный стол, заваленный грязными тарелками и жалкими остатками еды. Тут же валялось несколько пустых бутылок. Во главе стола лицом к нам сидел грузный великан с львиной головой и густой копной ярко-рыжих волос. Борода его, спутанная, всклокоченная и жесткая, как конская грива, была того же цвета. Мне приходилось на своем веку видеть странные лица, но я еще не встречал такой животной жестокости, какая была в этом лице с маленькими злыми голубыми глазами, морщинистыми щеками и толстой отвисшей нижней губой, выпяченной над уродливой бородой. Голова его склонилась на плечо, он смотрел на нас мутным, пьяным взглядом. Однако он вовсе не был сильно пьян — просто наши мундиры слишком многое ему сказали.

— Ну что, мои отважные вояки, — икнув, произнес он, — что нового в Париже? А? Я слышал, вы собираетесь освободить Польшу, но пока что сами стали рабами — рабами маленького аристократа в сером сюртуке и треуголке. Говорят, у вас больше нет граждан — одни только господа и госпожи. Клянусь чем угодно: в одно прекрасное утро немало голов опять покатится в корзину с опилками!

Дюрок молча подошел к наглецу и стал рядом.

— Жан Карабен, — вымолвил он.

Барон вздрогнул, и взгляд его, казалось, сразу протрезвел.

— Жан Карабен, — произнес Дюрок еще раз.

Барон выпрямился, вцепившись в ручки кресла.

— Что это значит? Почему вы твердите это имя, молодой человек? — спросил он.

— Жан Карабен, вы тот, с кем я давно уже ищу встречи.

— Допустим, я когда-то носил это имя, но вам-то что, ведь вы тогда, наверное, были младенцем?

— Я — Дюрок.

— Неужели сын?..

— Сын человека, которого вы убили.

Барон делано засмеялся, но в глазах его мелькнул страх.

— Кто прошлое помянет, тому глаз вон, молодой человек! — крикнул он. — В те дни решалось, кому из нас жить: нам или им, аристо-



кратам или народу. Ваш отец был жирондистом. Он погиб. Я был мон-таньяром. Многие из моих товарищей тоже сложили свои головы. Все зависит от того, кому как повезет на войне. Мы — вы и я — должны забыть об этом и постараться понять друг друга. — Он протянул ему руку, шевеля красными пальцами.

— Довольно! — сказал юный Дюрок. — Если б я мог разрубить вас саблей сейчас, пока вы сидите в кресле, я бы сделал благое, справедливое дело. Я опозорю свой клинок, если скрещу его с вашим. И все же вы француз и присягали тому же знамени, что и я. Вставайте же и защищайтесь!

— Тише, тише! — прикрикнул на него барон. — Брось свои аристократические замашки, дворянское отродье!..

Терпение Дюрока лопнуло. Он размахнулся и ударил кулаком прямо в бороду. Я увидел кровь на отвислой губе и бешеную злость в маленьких голубых глазах.

— За этот удар ты поплатишься жизнью!

— Вот так-то лучше, — сказал Дюрок.

— Эй, саблю! — закричал барон. — Я не заставлю вас ждать, даю вам слово! — И он бросился вон из комнаты.

Я уже говорил, что там была вторая дверь, завешенная драпировкой. Как только барон исчез, из этой двери выбежала женщина, молодая и красивая. Она двигалась так быстро и бесшумно, что через мгновение уже стояла между нами, и только по кольханию драпировки можно было догадаться, откуда она появилась.

— Я все видела! — воскликнула она. — О, мсье, вы были великолепно! — Она склонилась к руке Дюрока и стала покрывать ее поцелуями, пока тому не удалось ее выдернуть.

— Но, сударыня, почему вы целуете мне руку? — почти закричал он.

— Потому что эта рука ударила его в подлый, лживый рот. Потому что, быть может, эта рука отомстит за мою мать. Я его падчерица. Женщина, которой он разбил сердце, была моей матерью. Я ненавижу и боюсь его. Ах, вот его шаги!

Еще мгновение — и она исчезла так же внезапно, как и появилась. Вошел барон с обнаженной саблей в руках; за ним следовал человек, который открыл нам ворота.

— Это мой секретарь, — сказал барон. — Он будет моим секундантом. Но в этой комнате нам будет тесно. Соболаговолите пройти со мной в более просторное помещение.

Драться в комнате, которую загромождал широкий стол, было, разумеется, невозможно. Мы вышли вслед за ним в тускло освещенный холл. На другом конце его светилась открытая дверь.

— Здесь будет гораздо удобнее, — сказал чернобородый секретарь.

Это была большая пустая комната, где вдоль стен стояли ряды ящиков и бочек. В углу на полке горела яркая лампа. Пол был ровный и гладкий — большего фехтовальщику требовать не приходилось. Дюрок вытащил саблю и вбежал в комнату. Барон посторонился и с поклоном сделал мне знак последовать за моим спутником. Едва я успел переступить порог, как дверь со стуком захлопнулась и в замке провизжал ключ. Мы оказались в ловушке.

Мы это поняли не сразу. Нам еще не приходилось сталкиваться с такой неслыханной человеческой подлостью. Затем, когда мы убедились, как глупо с нашей стороны было поверить хоть на секунду человеку с таким прошлым, нас охватил яростный гнев — гнев на этого негодяя и на нашу собственную глупость. Мы бросились к двери и стали колотить в нее кулаками и тяжелыми сапогами. Грохот и наши проклятия, должно быть, разносились по всему замку. Мы звали этого подлеца и осыпали



его всевозможными оскорблениями, которые могли бы задеть за живое его зачерствелую душу. Но огромная дверь — такая, какие бывают в средневековых замках, — была сделана из толстых бревен, схваченных железными скобами. Пробить ее — все равно что пробить каре Старой гвардии. И от криков наших было столько же толку, сколько и от уда-

ров, они только отдавались громким эхом под высоким потолком. Но солдатская служба быстро обучает терпеливо сносить то, что изменить невозможно. Я первый вновь обрел хладнокровие и убедил Дюрока вместе со мной осмотреть помещение, которое стало нашей темницей.

Тут было единственное окно, незастекленное и такое узкое, что в него еле удалось бы просунуть голову. Оно было прорезано высоко в стене; чтобы выглянуть из него, Дюроку пришлось стать на бочку.

— Что вы видите? — спросил я.

— Хвойный лес, а в нем — снежную дорогу, — сказал Дюрок. — О! — вдруг удивленно воскликнул он.

Я вспрыгнул на бочку и стал рядом с ним. Действительно, среди леса тянулась длинная снежная полоса; по ней, нахлестывая лошадь, бешеным галопом мчался всадник. Он становился все меньше и меньше, пока не исчез среди темных елей.

— Что это значит? — спросил Дюрок.

— Ничего хорошего для нас, — ответил я. — Возможно, он отправился за подмогой и привезет таких же разбойников, чтобы перерезать нам горло. Давайте-ка поглядим, нельзя ли как-нибудь выбраться из этой мышеловки, пока не явилась кошка.

У нас была отличная лампа — это единственное, в чем нам повезло. Она была заправлена почти доверху и могла светить до самого утра. В темноте наше положение было бы куда хуже. При ее свете мы принялись осматривать лежавшие вдоль стен ящики и тюки. Кое-где они лежали в один ряд, в углу же были навалены кучей почти до потолка. По-видимому, мы оказались в кладовой замка: здесь было множество сыров, разных овощей, ящиков с сушеными фруктами и ряды винных бочек. Одна из них была с краном, и так как я весь день почти ничего не ел, то с удовольствием подкрепился кружкой кларета и кое-чем из съестного. Что касается Дюрока, то он не стал есть и, пылая гневом и нетерпением, шагал взад и вперед.

— Я еще поквитаться с ним! — время от времени восклицал он. — Этот подлец от меня не уйдет!

Все это прекрасно, размышлял я, сидя на большом круглом сыре и уплетая свой ужин, но мой птенец, кажется, чересчур много думает о своих семейных делах и ни капельки о том, как выбраться из переделки, в которую я попал по его милости. В конце концов, уже четырнадцать лет как его отца нет на свете, а Этьену Жерару, самому отважному лейтенанту Великой армии, грозит опасность пасть с перерезанным горлом в начале его блестящей карьеры. Как знать, до каких высот я могу подняться, если не отправлюсь на тот свет из-за этой тайной авантюры, которая ничуть не касается ни Франции, ни императора? Надо же быть таким остолопом, костерил я себя, впереди у меня славная кампания и все, что только может пожелать человек, а я ввязался в эту дурацкую затею! Мало мне сражаться против четверти миллиона русских, нет, нужно еще влезать во всякие семейные распри!

— Ну хорошо, — перебил я наконец бормочущего угрозы Дюрока. — Можете делать с ним, что хотите, когда он будет у вас в руках. Но сейчас вопрос в том, что он хочет сделать с нами?



— Да хоть самое худшее! — воскликнул юнец. — Я в долгу перед своим отцом.

— Чистейшая глупость, — откликнулся я. — Если вы в долгу перед отцом, то я в долгу перед своей матерью, и этот долг повелевает мне выйти отсюда живым и невредимым.

Мои слова немного отрезвили его.

— Простите меня, мсье Жерар! — воскликнул он. — Я думаю только о себе! Посоветуйте же, что делать.

— Ну что ж, — сказал я. — Они нас заперли среди сыров вовсе не для сохранения нашего здоровья. Они жаждут покончить с нами. Это ясно. Они рассчитывают, что никто не знает, что мы здесь, и никто не станет нас искать, если мы отсюда не выйдем. Ваши гусары знают, куда вы пошли?

— Я им ничего не сказал.

— Хм! Несомненно одно: с голоду мы здесь не умрем. Если они замыслили убить нас, они должны войти сюда. За баррикадой из бочек мы сможем продержаться против тех пяти негодяев, что мы видели. Потому-то, наверное, они и послали гонца за подмогой.

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРИГАДИРА ЖЕРАРА**



I КАК БРИГАДИР ЛИШИЛСЯ УХА

Старый бригадир Жерар, сидя в кафе, рассказывал:

— Да, друзья мои, многое множество городов перевидал я на своем веку. Вы не поверите, если я скажу, сколько раз вступал я в города победителем во главе восьмисот лихих рубак, которые ехали за мной под стук подков и бряцание оружия. Кавалерия шла впереди Великой армии, гусары Конфланского полка — впереди кавалерии, а я — впереди гусар. Но из городов, где нам довелось побывать, Венеция всех нелепей, — и кто ее только построил! Ума не приложу, о чем думали эти строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности маневрировать. Сам Мюрат или Лассаль — и те не сумели бы провести эскадрон на главную площадь. Поэтому тяжелую кавалерийскую бригаду Келлермана и моих гусар мы оставили в Падуе, на материке. Город заняла пехота под командованием Сюше, а он взял меня в ту зиму к себе в адъютанты, потому что ему понравилось, как я разделался в Милане с одним итальянцем, который ловко умел рубиться на саблях. Этот малый знал свое дело, и, к счастью для Франции, именно я вышел против него и поддержал честь нашего оружия. Да и проучить его следовало: ведь если кому не нравится, как поет примадонна, тот может и помолчать, а когда публично срамят красивую женщину, этого стерпеть нельзя. Поэтому общее сочувствие было на моей стороне, а когда дело было сделано и вдове итальянца назначили пенсию, Сюше взял меня в адъютанты, и я отправился с ним в Венецию, где со мной и произошел тот удивительный случай, о котором я вам сейчас расскажу.

Вы не бывали в Венеции? Ну конечно нет, французы ведь нелегки на подъем. А мы вот в наше время довольно попутешествовали. Всюду побывали, от Москвы до самого Каира, только хозяевам не по душе было такое множество гостей, да и пропуска свои мы везли на лафетах. Плохо придется Европе, когда французы снова вздумают путешествовать, — они неохотно покидают свои дома, но, если уж сдвинутся с места, кто знает, где они останутся, особенно если их поведет такой человек, как наш император, даром что он невысок ростом. Но те славные дни прошли, те славные люди мертвы, и я, последний из них, сижу в кафе, пью сюренское вино и рассказываю о былом.



Но о чем это я... Ах да, о Венеции. Люди там живут, как водяные крысы на илистых отмелях, но дома хороши, ничего не скажешь, и я нигде не видывал таких великолепных церквей; особенно замечателен собор Святого Марка. Но более всего они гордятся своими статуями и картинами, знаменитыми по всей Европе. Многие в армии считают, что их дело — воевать и ни о чем другом, кроме сражений да добычи, и думать не стоит. К примеру, был у нас один такой старик Буве, его убили пруссаки в то самое время, когда император пожаловал мне медаль; попробовали бы вы заговорить с ним не про бивак да провиант, а про книги или про искусство, он стал бы только глаза таращить. Но

настоящий воин, вот как я, к примеру, должен разбираться в тонких материях, которые дают пищу для ума и для души. Правда, я поступил в армию совсем еще мальчишкой и единственным моим учителем был квартирмейстер, но тот, у кого есть глаза во лбу, поневоле многому научится, пройдя чуть ли не полсвета.

Так что я мог оценить картины, какие видел в Венеции, и знал имена великих людей, Майкла Титиена, и Ангелюса¹, и других, которые их нарисовали. И всякий вам скажет, что сам Наполеон тоже был от них в восторге, потому что он, когда взял город, первым делом велел отправить лучшие из них в Париж. Мы забрали все, что только могли, и на мою долю достались две картины. Одну, которая называлась «Испуганные нимфы», я оставил себе, а другую, «Святую Барбару», послал в подарок матушке.

Но что греха таить, некоторые из наших молодцов плохо обращались со статуями и картинами. Венецианцы их очень любили, а в четверке бронзовых коней, что стояли над воротами самой большой ихней церкви, они просто души не чаяли, как в родных детях. Я всегда знал толк в лошадях и хорошенько осмотрел эту четверку, но ничего особенного не нашел. Для легкой кавалерии ноги у них слишком толстые, а для орудийной запряжки они слабоваты. Но поскольку, кроме этой четверки, во всем городе не было больше ни единой лошади, живой или дохой, тамошние жители просто-напросто ничего лучшего не видели. Когда этих коней снимали и отправляли во Францию, все горько плакали, а ночью из каналов выловили десять французских солдат. В наказание у них отобрали еще многое множество картин, и наши солдаты принялись ломать статуи и палить из ружей по разноцветным оконным стеклам. Это привело народ в ярость, венецианцы нас возненавидели. Многие офицеры и солдаты пропали в ту зиму без вести, и даже трупы их найти не удалось.

У меня в то время дел было по горло, скучать не приходилось. В каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я старался выучить тамошний язык. Для этого я всегда искал милую даму, которая согласилась бы выучить меня, чтоб потом нам вместе попрактиковаться. Нет более приятного способа обучиться иностранному языку, и мне не исполнилось еще тридцати, когда я уже говорил чуть ли не на всех европейских языках; но скажем прямо, те слова, какие можно выучить таким способом, не очень-то годятся в обычной жизни. Вот мне, к примеру, приходилось все больше иметь дело с солдатами да крестьянами, а какой толк говорить им, что я люблю их одних и вернусь к ним, когда кончится война?

Никогда не было у меня такой милой учительницы, как в Венеции. Звали ее Лючия, а по фамилии... но благородному человеку не приста-

¹ М а й к л Т и т и е н — бригадир называет так великого итальянского живописца XVI в. Тициана Вечеллио. А н г е л ю с — очевидно, имеется в виду Анжелико, фра Джованни да Фьезоле (1387—1455).

ло помнить фамилии. Могу только сказать, не будучи нескромным, что она дочь венецианского сенатора, а дед ее был дожем. Она была редкостная красавица — а уж ежели я, Этьен Жерар, говорю «редкостная», это, друзья мои, что-нибудь да значит. Я кое-что смыслю в этих делах, и память у меня хорошая, да и сравнивать есть с чем. Из всех женщин, какие меня любили, не наберется и двух десятков, про которых я мог бы так сказать. Но Лючия, говорю вам, была редкостная красавица. Среди брюнеток я не припомню ей равной, — разве только вот Долорес из Толедо. Да еще была у меня одна брюнеточка в Санта-реме, когда я служил под началом у Массена в Португалии... как бишь ее звали?.. Запомнил. Она была само совершенство, но все же до Лючии ей далеко — и фигуру не сравнить и грация не та. Была еще, правда, Агнесса. Я не отдавал ни одной из них предпочтения, но по справедливости надо признать, что Лючия была лучшей из лучших.

Из-за этих самых картин я с ней и познакомился, — дворец ее отца стоял по ту сторону Большого канала, у моста Риальто, и все стены в нем сплошь были разрисованы, поэтому Сюше выслал отряд саперов с приказом вырезать некоторые куски и отправить в Париж. Я пошел с ними, увидел Лючию, всю в слезах, и сразу сообразил, что, если шутка-кагурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом, и саперов отозвали. С тех пор я стал другом их дома и раздавил с ее папашей не одну бутылочку кьянти, а дочка дала мне не один сладостный урок итальянского языка. В ту зиму в Венеции кое-кто из французских офицеров женился, и та же судьба могла постичь и меня, потому что я любил Лючию всем сердцем; но Этьен Жерар никогда не забывает о чести своего оружия, о своем коне, своем полку, своей матери, об императоре и о карьере. В сердце доброго гусара всегда найдется место для любви, но жена — дело другое. Так рассуждал я в те дни, друзья мои, и не думал, что наступит время, когда я останусь один как перст и буду тосковать о той, которой давно уж нет, и отводить взгляд при виде старых боевых товарищей, которые сидят себе в кресле в кругу взрослых детей. Да, любовь казалась мне тогда шуткой, баловством, и теперь только я понял, что это главное в жизни, самое возвышенное и святое на свете... Спасибо вам, друзья мои, спасибо! Винцо превосходное, и лишняя бутылочка мне не повредит.

А теперь слушайте, я расскажу вам, как любовь к Лючии свергла меня в самое ужасное из всех невероятных приключений, какие мне довелось пережить, — тогда-то я и лишился верхней половины правого уха. Вы часто спрашивали меня, как это случилось. Сегодня я наконец расскажу вам об этом.

Ставка Сюше находилась в ту пору в старинном дворце дожа Дандоло, на берегу лагуны, неподалеку от площади Святого Марка. Дело уже шло к весне, и вот как-то вечером прихожу я из театра Гольдини¹, а меня уже дожидается записка от Лючии и гондола. Она умоляла

¹ Имеется в виду Гольдони.

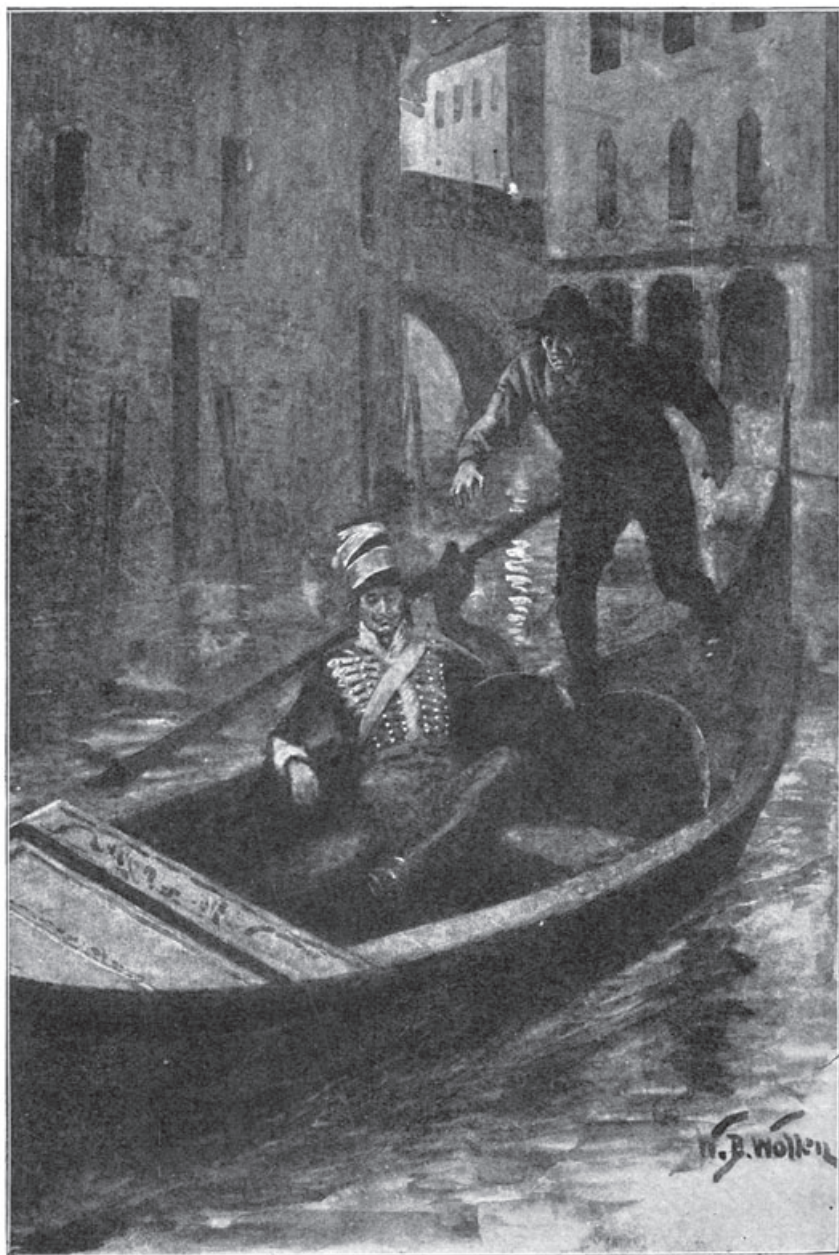


Я пошел с ними, увидел Люцию, всю в слезах, и сразу сообразил, что, если штукатурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом...

меня приехать не мешкая, потому что с ней случилась беда. На такую записку у французского офицера может быть только один ответ. Через секунду я был уже в гондоле, и гондольер, отталкиваясь веслом, поплыл по темной лагуне. Помню, садясь на скамейку, я еще подивился, какой это здоровенный малый. Хоть и невысок ростом, зато плечи широченные, я таких сроду не видывал. Но гондольеры в Венеции народ крепкий, и силачей среди них немало. Так вот, он занял свое место у меня за спиной и стал грести.

Хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил, и если я дожил до седых волос, то лишь потому, что неизменно ему следовал. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боится, как бы не подумали, что он трусит. Пистолеты я в спешке позабыл дома. Сабля была при мне, но это оружие не всегда самое удобное. Я откинулся на спинку скамьи и задремал под баюкающий плеск воды и мерное поскрипывание весла. Путь наш лежал через лабиринт узких каналов, по обоим берегам которых стояли высокие дома, так что над головами у нас виднелась лишь узкая полоска неба, усыпанного звездами. Кое-где на мостах, перекинутых через канал, тускло мерцали керосиновые фонари, да иногда в нише, где горела свеча перед статуей святого. В целом же вокруг была кромешная, непроницаемая тьма, только белое пятно пенилось под длинным черным носом нашей лодки. Час был поздний, да и обстановка располагала ко сну. Мне вспомнилась вся моя жизнь, вспомнились великие дела, в которых я участвовал, кони, на которых я ездил, и женщины, которых любил. А потом я стал думать о своей матушке и представил себе, как она обрадовалась, когда вся наша деревня заговорила о геройстве ее сына. А еще я думал об императоре и о Франции, нашей милой родине, о солнечной Франции, вскормившей многих прекрасных дочерей и отважных сынов. Душа моя исполнилась ликования при мысли о том, что мы пронесли знамена Франции за много сотен лиг от ее границ. Служению ей я посвящу всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом, но тут гондольер вдруг навалился на меня сзади.

Когда я говорю, что он навалился на меня, то несколько не преувеличиваю: он не просто напал, а именно обрушился на меня всей тяжестью. Гондольер, когда гребет, стоит у пассажира за спиной, на возвышении, так что его не видеть, и от такого нападения никак не уберечься. Только что я сидел, исполненный самых благородных порывов, а теперь вот лежал на дне гондолы, к которому это чудовище пригвоздило меня, и не мог даже вздохнуть. Я чувствовал его горячее, яростное дыхание у себя на затылке. Он живо сорвал у меня с пояса саблю, натянул мне на голову мешок и крепко захлестнул его веревочной петлей. Я лежал на дне гондолы, беспомощный, как птичка, запутавшаяся в силке. Я не мог крикнуть, не мог пошевелиться и был словно узел с тряпьем. Вскоре я снова услышал плеск воды и скрип весла.



*Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом, но тут гондольер
вдруг навалился на меня сзади.*

Этот негодяй сделал свое дело и преспокойно поплыл дальше как ни в чем не бывало, словно привык каждый день набрасывать мешок на голову гусарского полковника.

Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там, беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в шести бригадах легкой конницы, первого рубаку во всей Великой армии, осилил один безоружный человек, и каким образом! Но я лежал смиренно, потому что всему свое время — надо знать, когда сопротивляться, а когда беречь силы. Я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце мое пылало яростью.

Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю; мне показалось, что очень долго, а вода все плескалась и весло скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону — я знал это, потому что слышал протяжный, тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец после долгого пути я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях.

— Ты привез его? — спросил чей-то голос по-итальянски.

Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал.

— Вот получайте, — ответил он.

— Они ждут, — сказал голос. И добавил еще что-то, чего я не понял.

— Ну и берите его, — сказал гондольер.

Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновение загрохотали засовы и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену.

Судя по голосам и звукам шагов, меня, видимо, окружало несколько человек. Я неважно говорю по-итальянски, но понимаю куда лучше и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь.

— Ты случайно не придушил его, Маттео?

— А хоть бы и так.

— Клянусь, ты ответишь за это перед судом.

— Но ведь его все равно казнят, верно?

— Да, но не тебе и не мне быть судьями.

— Тьфу! Да я и не думал его убивать. Мертвые не кусаются, а он, подлец, прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову.

— Но он не двигается.

— А вы вытряхните его из мешка и сами увидите, что он живехонек.

Веревку развязали и мешок стянули у меня с головы. Зажмурившись, я неподвижно лежал на полу.

— Клянусь всеми святыми, Маттео, ты сломал ему шею.

— Ну нет. Это он в обмороке. И если не очнется, что ж, тем лучше для него.

Я почувствовал, как чья-то рука залезла мне под мундир.

— Маттео прав, — послышался голос. — Сердце у него стучит, как молот. Пускай отлежится, придет в чувство.

Я выждал минуту-другую, а потом рискнул бросить украдкой взгляд из-под опущенных ресниц. Сперва я ничего не увидел, потому что долго пробыл в темноте и теперь очутился как бы в тумане. Но вскоре я разглядел у себя над головой высокий сводчатый потолок, разрисованный разными богами и богинями. Значит, меня приволокли не просто в логово головорезов, а в вестибюль какого-то венецианского дворца. Тогда я, не шевелясь, очень медленно и осторожно оглядел людей, стоявших вокруг меня. Я увидел гондольера, этого злобного негодяя со смуглым, словно высеченным из камня лицом и еще троих — один из них был щуплый, сутулый, начальственного вида, со связкой ключей в руке, двое других — рослые молодые слуги в щегольских ливреях. Из их разговора я понял, что щуплый — это дворецкий, и все остальные у него под началом.

Итак, их четверо — правда, щуплый дворецкий не в счет. Будь у меня оружие, я только посмеялся бы над таким превосходством сил. Но голыми руками мне невозможно справиться и с одним из них, даже если остальные трое ему не помогут. Значит, оставалось надеяться на хитрость, а не на силу. Я стал искать какого-нибудь пути к бегству и при этом чуть-чуть повернул голову. Сколь ни неприметно было это движение, оно не ускользнуло от моих врагов.

— Эй ты, очнись! — крикнул дворецкий.

— Вставай-ка, французик, — проворчал гондольер. — Слышишь, вставай. — И он снова пнул меня ногой.

Ни один приказ еще не был исполнен с такой быстротой. В мгновение ока я вскочил и со всех ног бросился в дальний конец вестибюля. Они пустились за мной, словно английские гончие, которые как-то у меня на глазах травили лису, но я уже бежал по длинному коридору. Поворот налево, еще раз налево, и я снова очутился в вестибюле. Они уже настигали меня, и раздумывать было некогда. Я бросился было к лестнице, но по ней спускались какие-то двое. Я кинулся назад и сделал попытку открыть дверь, через которую меня втащили, но она была заложена тяжелыми засовами, которые мне не удалось отодвинуть. Гондольер бросился на меня с ножом, но я нанес ему такой удар ногой, что он упал навзничь. Нож громко звякнул о мраморный пол. Схватить его я не успел, потому что на меня накинулись сразу шестеро. Я бросился напролом, но тут щуплый дворецкий подставил мне ножку, и я с грохотом упал, однако сразу же вскочил, вырвался из их рук, раскидал их во все стороны и бросился к двери в другом конце вестибюля. Я успел добежать до нее первым, ручка легко поддалась нажиму, и я издал торжествующий крик, потому что дверь вела наружу и путь был свободен. Но я забыл, какой это нелепый город. Там что ни

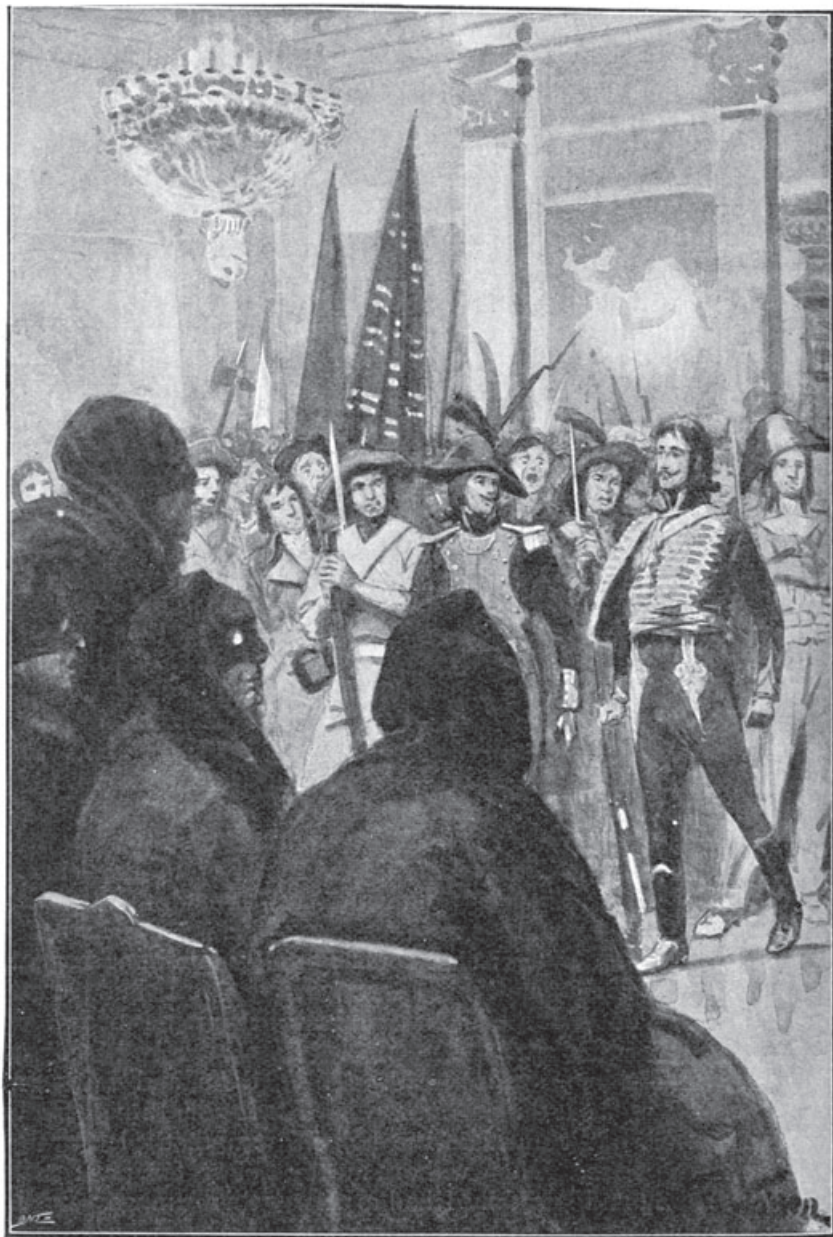
дом, то остров. Я распахнул дверь и хотел уже выскочить на улицу, и тут свет из вестибюля упал на глубокую, спокойную, черную воду, которая подступала к верхней ступеньке крыльца. Я попытался, и они навалились всем скопом. Но меня так просто не возьмешь. Действуя руками и ногами, я снова вырвался, хотя один из них, стараясь удержать меня, выдрал из моей головы здоровый клочок волос. Дворецкий огрел меня тяжелым ключом, я был весь избит и исцарапан, но снова расчистил себе дорогу. Я побежал вверх по широкой лестнице, распахнул одну за другой несколько больших двустворчатых дверей, которые попались на пути, и наконец увидел, что все мои усилия пропали даром.

Комната, куда я ворвался, была ярко освещена. Судя по раззолоченным карнизам, массивным колоннам, расписным стенам и потолкам, это, вероятно, была парадная зала какого-то великолепного венецианского дворца. Таких дворцов в этом странном городе не считать, и в каждом есть залы, которым позавидовали бы Лувр и Версаль. Посередине было возвышение, на котором полукругом сидели двенадцать человек, одетые в черное с ног до головы будто францисканские монахи, и все как один в полумасках. Отряд вооруженных людей — по виду настоящих бандитов — охранял вход, а впереди, лицом к возвышению, стоял молодой человек в пехотной форме. Когда он обернулся, я узнал его. Это был капитан Оре из Седьмого полка, молодой баск, с которым я в ту зиму выпил не одну бутылку вина. Он, бедняга, был бледен как смерть, но держался среди этих палачей, как подобает мужчине. Никогда не забуду, как в его темных глазах блеснула искра надежды, когда он увидел, что в комнату ворвался товарищ, но надежда тут же сменилась отчаяньем: он понял, что я явился разделить его участь, а не изменить ее.

Можете себе представить, как удивились все эти люди, когда я вихрем влетел в залу. Преследователи мои сгрудились позади меня и отрезали путь к двери, так что теперь уж нечего было и думать о побеге. В такие вот минуты и проявляется по-настоящему мой характер. Я с достоинством подошел к судьям. Мой мундир был изорван, волосы встрепаны, голова разбита и в крови, но было в моих глазах и в моей осанке нечто, заставившее их понять, что перед ними не простой человек. Меня даже не пытались задержать, и я остановился перед величественным седобородым стариком властного вида, решив, что и по возрасту и по внешности он должен быть тут главным.

— Синьор, — сказал я, — не соблаговолите ли объяснить мне, по какому праву меня схватили и насильно привезли сюда? Я честный солдат, как и вот этот человек, и требую, чтобы нас обоих немедленно освободили.

Зловещее молчание было ответом на мои слова. Мне стало не по себе, когда двенадцать итальянцев в масках устремили на меня глаза, пылающие мстительной злобой. Но я не дрогнул, как и подобает доброму солдату, а в голове у меня невольно мелькнула мысль, что я не



Я с достоинством подошел к судьям.

посрамил своим поведением чести гусар Конфланского полка. Не думаю, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел в столь трудных обстоятельствах держаться лучше. Я бесстрашно переводил взгляд с одного палача на другого и ждал ответа.

Молчание нарушил седобородый.

— Кто этот человек? — спросил он.

— Его зовут Жерар, — ответил дворецкий из дверей.

— Полковник Жерар, — поправил я. — Не вижу причин скрывать это. Да, я Этьен Жерар, тот самый полковник Жерар, который пять раз упомянут в донесениях и представлен к награждению почетной шпагой. Я адъютант генерала Сюше и требую, чтобы меня и моего товарища немедленно освободили.

Снова то же злое молчание воцарилось в зале, и те же двенадцать пар беспощадных глаз устремились на мое лицо. Заговорил опять седобородый:

— Сейчас не его очередь. У нас в списке до него еще двое.

— Но он вырвался из наших рук и вломился сюда.

— Пускай ждет своей очереди. Отведите его в деревянную камеру.

— А если он будет сопротивляться, ваша светлость?

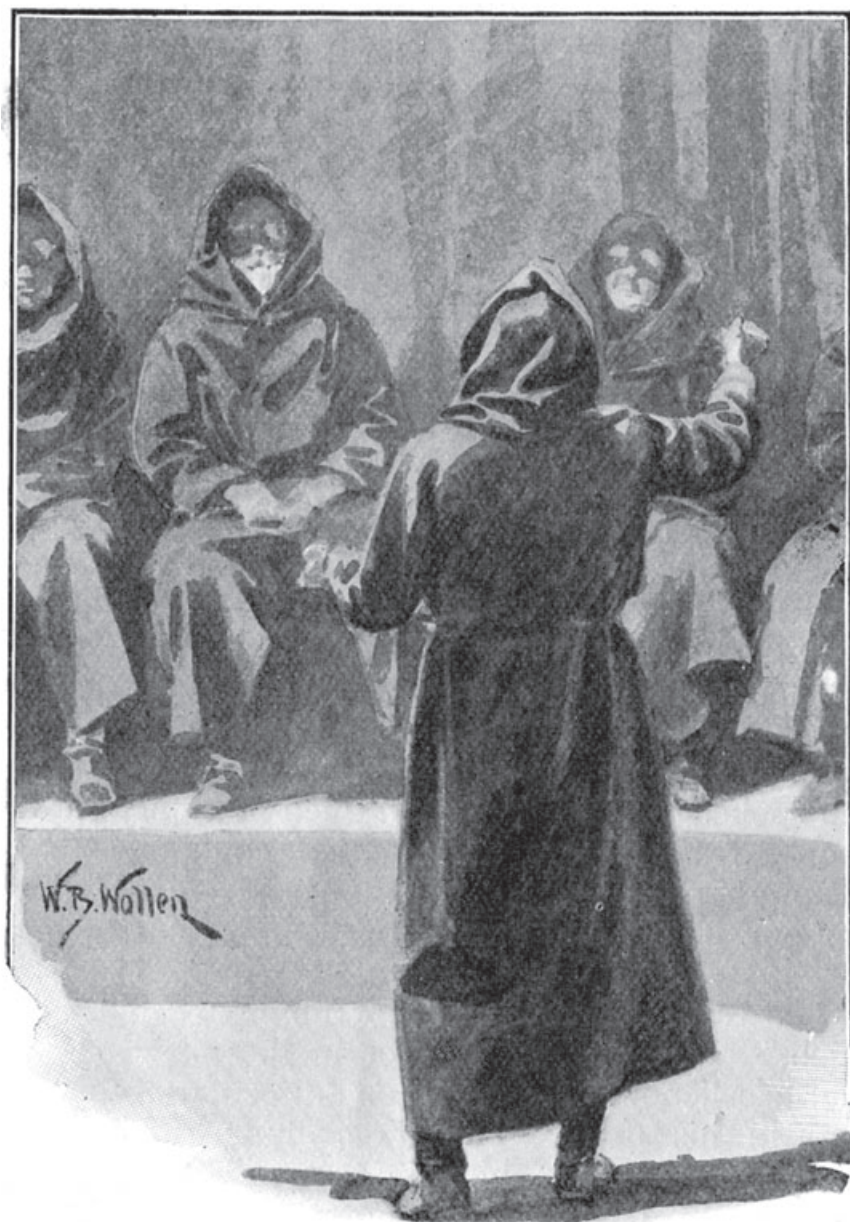
— У вас на то есть кинжал. Суд гарантирует вам безнаказанность.

Уведите его, пока мы занимаемся остальными.

Они двинулись ко мне, и я подумал было о сопротивлении. Это была бы геройская смерть, но кто увидел бы ее, кто поведал бы о ней потомкам? Конечно, я мог лишь отсрочить роковой конец, и все же я побывал в стольких скверных переплетах и столько раз выходил из них невредимым, что научился надеяться и верить в свою звезду. Я позволил этим негодяям схватить меня, и мы вышли за дверь, причем гондольер не отходил от меня ни на шаг, держа наготове длинный нож. По глазам этого негодяя видно было, с каким удовольствием он всадил бы этот нож в меня, будь у него для этого малейший предлог.

Что за чудо эти огромные венецианские дома, они же дворцы, крепости и одновременно тюрьмы. Меня повели сперва по галерее, а потом вниз по каменной лестнице, и наконец мы очутились в коротком коридоре, где было три двери. Меня толкнули в одну из них, и позади сразу же защелкнулся замок. Скупой свет проникал внутрь через зарешеченное оконце, выходившее в коридор. Почти ничего не видя, я ощупью обшарил все помещение. Из разговоров, которые я слышал, было ясно, что скоро мне придется выйти отсюда и снова предстать перед судом, но не в моем обычае пренебрегать хотя бы малейшим шансом на спасение.

Каменный пол моей камеры был сырой, а стены на несколько футов в высоту осклизлые и прогнившие, из чего я заключил, что нахожусь ниже уровня воды. Высоко под потолком я обнаружил отдушину, сквозь которую в камеру проникал свет и воздух. Я глянул вверх и увидел яркую звезду, сверкавшую прямо надо мной, и это преисполнило меня спокойствием и надеждой. Я не был слишком набожен,



...высокий темноволосый молодой человек стоял перед возвышением и тихим, но идущим от самого сердца голосом упрасивал о чем-то остальных судей.

хоть всегда уважал искренне верующих, но мне не забыть ту ночь, когда сияющая звезда заглядывала в мое подземелье, словно всевидящее око, и я чувствовал себя робким, безусым новобранцем, который в разгар боя ощутил на себе спокойный взгляд своего полковника.

Три стены моей темницы были каменные, а четвертая деревянная, и было ясно, что она сколочена совсем недавно. Очевидно, один большой подвал разделили деревянными перегородками на две камеры поменьше. Толстые, старинные стены, крепкая дверь, крошечное оконце — тут надеяться было не на что. Оставалась только деревянная перегородка. Конечно, я понимал, что если и проникну за нее — это, кстати, было не так уж трудно, — то попаду всего-навсего в другую камеру, не менее прочную, чем эта. Все же я всегда предпочитал действовать, чем сидеть сложа руки, и занялся деревянной стеной со всей решительностью, на какую был способен. Там были две доски, плохо пригнанные одна к другой, они держались так непрочно, что их, без сомнения, легко можно было оторвать. Я поискал подле себя какое-нибудь подходящее орудие и отломал ножку койки, стоявшей в углу. Я уже засунул ее в щель между досками, как вдруг быстрые шаги заставили меня остановиться и прислушаться.

Ах, если бы я мог забыть то, что услышал! У меня на глазах умирали на поле битвы многие сотни людей, да и сам я убил столько, что лучше и не вспоминать, но все это было в честном бою, при исполнении воинского долга. Совсем другое дело — слышать, как человек принимает смерть в этом логове убийц. Они волокли кого-то по коридору, а он сопротивлялся и ухватился за дверь моей темницы. Видно, его втокнули в третью камеру, самую дальнюю от меня. «Помогите! Помогите!» — закричал он, и я услышал звук удара и отчаянный вопль. «Помогите! Помогите!» — закричал он снова, а потом: «Жерар! Полковник Жерар!» Это убивали несчастного пехотного капитана. «Подлые убийцы!» — загремел я и стал колотить ногами в дверь, но тут он снова вскрикнул, и все стихло. А еще через минуту раздался громкий всплеск, и я понял, что на этом свете никто уж не увидит Оре. Он погиб, как сотни других, которых в ту зиму недосчитались на перекличке наши полки в Венеции.

В коридоре снова раздался шаг, и я подумал, что пришли за мной. Но вместо этого я услышал, как отперли дверь соседней камеры и вывели оттуда кого-то. Шаги замерли на лестнице. Тогда я снова принялся за перегородку и в какие-нибудь несколько минут так расшатал доски, что их можно было свободно вынуть и вставить на место, когда мне заблагорассудится. Через отверстие я проник в соседнюю камеру; как я и ожидал, она оказалась частью подвала, разделенного перегородкой. Это нисколько не приблизило меня к моей цели, потому что здесь уже не было деревянной стены, сквозь которую я мог бы пробраться, а дверь была заперта на замок. И никаких следов, по которым я мог бы судить, кто был мой товарищ по несчастью. Я вернулся в свою камеру, вставил доски на место и, собрав все свое мужество,

стал ждать вызова, который, по всей видимости, предвещал для меня смерть.

Ждать пришлось довольно долго, но вот в коридоре снова раздался шаг, и я приготовился услышать звуки еще одной отвратительной расправы и крики несчастной жертвы. Но ничего подобного не случилось, пленника ввели в камеру без борьбы. Я не успел заглянуть туда через щель, потому что в тот же миг дверь моей камеры распахнулась и вошел негодяй-гондольер вместе с другими убийцами.

— Выходи, француз, — сказал он.

Он сжимал в волосатой ручище окровавленный нож, и я прочел в его сверкавших злобой глазах, что он мечтает всадить этот нож мне в сердце и ждет только предлога. Сопротивление было бессмысленно. Я вышел без единого слова. Меня повели вверх по каменной лестнице в ту же великолепную залу, где заседал тайный суд. Когда меня пустили туда, я с удивлением увидел, что на меня никто не обращает внимания. Один из них, высокий темноволосый молодой человек, стоял перед возвышением и тихим, но идущим от самого сердца голосом упрямился о чем-то остальных судей. Голос его дрожал от волнения, он то простирал к ним руки, то прижимал их к груди в отчаянной мольбе.

— Вы не сделаете этого! Не сделаете! — говорил он. — Я умоляю суд пересмотреть приговор!

— Отойди, брат, — сказал старик, главный среди них. — Приговор вынесен, и мы переходим к следующему делу.

— Ради всего святого будьте милосердны! — воскликнул молодой человек.

— Мы были милосердны, — отозвался тот. — Даже смерть — слишком легкая кара за такое преступление. Молчи и не мешай суду.

Я видел, как юноша в отчаянии упал на стул. Но мне недосуг было раздумывать, отчего он так сокрушается, потому что одиннадцать его собратьев уже устремили на меня суровые взгляды. Роковой миг настал.

— Вы полковник Жерар? — спросил свирепый старик.

— Да.

— Адьютант грабителя, который именуется себя генералом Сюше и, в свою очередь, подчинен другому грабителю, какого не видел свет, Бонапарту?

Я едва удержался, чтобы не назвать его лжецом, но иногда лучше воздержаться от возражений.

— Я честный солдат, — сказал я. — Я повиновался приказам и выполнял свой долг.

Кровь бросилась старику в лицо, глаза яростно сверкнули из-под маски.

— Все вы воры и убийцы, все до единого! — воскликнул он. — Что вам здесь надо? Вы французы. Так и сидели бы у себя во Франции. Разве мы звали вас в Венецию? По какому праву вы здесь? Где наши

картины? Где кони с собора Святого Марка? Кто вы такие, что крадете сокровища, которые наши предки собирали столетий? Наш город славился на весь мир, когда Франция была еще пустыней. Ваши пьяные, буйные, невежественные солдаты погубили созданное святыми и героями. Что можешь ты возразить на это?

Вид у старика был грозный, нет слов, его седая борода встала торчком от ярости, голос звучал отрывисто, как лай бешеной собаки. Я, конечно, мог бы ему возразить, что с его картинами ничего не делается в Париже, что из-за этих коней не стоит поднимать шума, а уж героев — не говоря о святых — он может увидеть, не обращаясь к своим далеким предкам и даже не вставая с кресла. Все это я мог бы ему сказать, но это было бы все равно что спорить с мамелюком о религии. Я пожал плечами и промолчал.

— Подсудимому нечего сказать в свое оправдание, — произнес один из судей в маске.

— Хочет ли кто-нибудь высказаться перед вынесением приговора?

Старик сверкающим взглядом обвел остальных.

— Тут есть одно обстоятельство, ваша светлость, — сказал один из них. — Конечно, касаясь его, приходится беречь раны нашего брата, но все же напоминаю вам, что есть особая причина примерно покарать этого офицера.

— Я помню об этом, — отозвался старик. — Брат, если в одном деле суд причинил тебе боль, то в другом ты получишь полное удовлетворение.

Молодой человек, который просил суд о милосердии, когда меня ввели, шатаясь встал на ноги.

— Нет, мне этого не вынести! — вскричал он. — Ваша светлость, простите меня. Я не могу больше участвовать в суде. Я болен. Я теряю рассудок.

Он в отчаянии простер руки к суду и выбежал из зала.

— Пускай уходит! Пускай! — сказал старик. — От человека из плоти и крови нельзя требовать слишком много, он не может оставаться здесь. Но он настоящий венецианец, и, когда первое отчаяние пройдет, он поймет, что иначе мы поступить не могли.

Обо мне на время забыли, и хотя я не привык, чтобы мной пренебрегали, тут я был бы рад, если бы обо мне не вспомнили подольше. Но вот старик снова сверкнул на меня глазами, словно тигр, который возвращается к своей жертве.

— Ты заплатишь за все, это будет только справедливо, — сказал он. — Ты, наглый проходимец, чужак, посмел поднять нечистый взгляд на внуку самого дожа Венеции, который уже обручил ее с наследником Лореданов. За такую честь придется заплатить дорогой ценой.

— Невозможно заплатить за то, чему нет цены, — отвечал я.

— Послушаем, что ты скажешь, когда придет твой час, — сказал он. — Может статься, что спеси у тебя сильно поубавится. Маттео, от-

веди пленника в деревянную камеру. Сегодня понедельник. Не давай ему ни пить, ни есть, а в среду вечером пускай снова предстанет перед судом. Тогда и решим, какой смерти его предать.

Конечно, хорошего впереди было мало, но все же я получил отсрочку. Когда косматый дикарь заносит над тобой окровавленный нож, бываешь благодарен и за малое снисхождение. Он вытолкнул меня из зала, потащил вниз по лестнице и снова швырнул в ту же камеру. Щелкнул замок, и я остался наедине с собственными мыслями.

Первым делом я решил снестись со своим соседом и товарищем по несчастью. Я подождал, пока шаги не замерли вдали, потом осторожно вынул обе доски и заглянул в щель. Так как было почти совсем темно, мне удалось лишь смутно различить фигуру, съжившуюся в углу, и я услышал шепот: узник молился так горячо, как молится человек, охваченный смертельным страхом. Должно быть, доски скрипнули. Послышался удивленный возглас.

— Мужайся, друг мой, мужайся! — воскликнул я. — Не все еще потеряно. Не падай духом, ибо с тобой Этьен Жерар.

— Этьен! — Голос был женский, и он прозвучал для меня как музыка. Я мигом протиснулся в щель и обнял девушку.

— Лючия! Лючия! — воскликнул я.

Несколько минут только и слышно было, что «Этьен!» да «Лючия!», ведь в такие минуты не до разговора. Она опомнилась первая.

— Ах, Этьен, они тебя убьют. Как ты попал к ним в руки?

— Я получил твою записку.

— Но я не писала никакой записки.

— Коварные дьяволы! Ну а ты?

— Я тоже получила записку от тебя.

— Лючия, да ведь и я не писал записки.

— Значит, они поймали нас обоих на одну удочку.

— О себе я не беспокоюсь, Лючия. К тому же мне сейчас ничто и не грозит. Они просто снова посадили меня сюда.

— Этьен, Этьен, они тебя убьют! Ведь там Лоренцо.

— Это кто, старик с седой бородой?

— Нет, нет, молодой, черноволосый. Он любил меня, и я тоже думала, что люблю его, пока... пока не узнала, что такое настоящая любовь, Этьен. Он не простит тебе этого. У него сердце из камня.

— Пусть делают что хотят. Они не в силах отнять у меня прошлого, Лючия. Но ты... Что будет с тобой?

— Да ведь это совсем не страшно, Этьен. Мгновенная боль — и все кончено. Они хотят заклеить меня позором, мой дорогой, но я приму это как венец чести, ведь я принимаю его благодаря тебе.

От этих слов кровь застыла у меня в жилах. Все превратности моей судьбы были ничто по сравнению с этой ужасной тенью, которая вдруг омрачила мою душу.

— Лючия! Лючия! — воскликнул я. — Сжался, скажи мне, что задумали эти душегубы! Скажи же, Лючия! Скажи!

СОДЕРЖАНИЕ

СЭР НАЙДЖЕЛ

Перевод Е. Корнеевой

Иллюстрации Артура Твидла

<i>Глава I. Дом Лорингов</i>	7
<i>Глава II. Как Уэверли посетил дьявол</i>	12
<i>Глава III. Соловый конь из Круксбери</i>	19
<i>Глава IV. Как в Тилфордское поместье прибыл стряпчий</i>	34
<i>Глава V. Как настоятель Уэверлийского монастыря судил Найджела</i>	49
<i>Глава VI. Леди Эрментруда открывает железный сундук</i>	63
<i>Глава VII. Как Найджел поехал за покупками в Гилдфорд</i>	72
<i>Глава VIII. Соколиная охота короля на круксберийских вересках</i>	88
<i>Глава IX. Как Найджел защищал Тилфордский мост</i>	100
<i>Глава X. Как король встретил своего сенешаля из Кале</i>	109
<i>Глава XI. У Даплинского рыцаря</i>	120
<i>Глава XII. Как Найджел победил горбуна из Шэлфорда</i>	133
<i>Глава XIII. Как сотоварищи ехали по древней дороге</i>	147
<i>Глава XIV. Как Найджел преследовал Рыжего Хорька</i>	169
<i>Глава XV. Как Рыжий Хорек посетил Косфорд</i>	193
<i>Глава XVI. Как король пировал в замке Кале</i>	204
<i>Глава XVII. Испанцы в море</i>	215
<i>Глава XVIII. Как Черный Саймон получил заклад от короля острова Акулы</i>	236
<i>Глава XIX. Как встретились английский сквайр и французский дворянин</i>	246
<i>Глава XX. Как англичане пытались взять замок Ла Броиньер</i>	264
<i>Глава XXI. Как в Косфорд отправился второй гонец</i>	278
<i>Глава XXII. Как Робер де Бомануар прибыл в Плоэрмель</i>	295
<i>Глава XXIII. Как тридцать жосленцев встретились с тридцатью плоэрмельцами</i>	304
<i>Глава XXIV. Как Найджела призвал его господин.</i>	319
<i>Глава XXV. Как французский король держал совет в Мопертюи</i>	332
<i>Глава XXVI. Как Найджел совершил третий подвиг</i>	342
<i>Глава XXVII. Как в Косфорд прибыл третий гонец</i>	362

БЕЛЫЙ ОТРЯД

Перевод В. Станевич

Иллюстрации Н. К. Уайета, Дж. Бардуэлла

<i>Глава I. О том, как паршивую овцу изгнали из стада</i>	371
<i>Глава II. Как Аллейн Эдриксон вышел в широкий мир</i>	378
<i>Глава III. Как Хордл Джон нашел сукновала из Лимингтона</i>	384

<i>Глава IV.</i> Как саутгемптонский бейлиф прикончил двух бродяг	388
<i>Глава V.</i> Как в «Пестром кобчике» собралась странная компания	397
<i>Глава VI.</i> Как Сэмкин Эйлвард держал пари на свою перину	406
<i>Глава VII.</i> Три приятеля идут через лес	417
<i>Глава VIII.</i> Три друга	426
<i>Глава IX.</i> О том, что в Минстедском лесу иногда случаются странные вещи	434
<i>Глава X.</i> Как Хордл Джон встретил человека, за которым готов был бы пойти	448
<i>Глава XI.</i> Как молодой пастух стерег опасное стадо	463
<i>Глава XII.</i> Как Аллейн научился тому, чему сам не мог научить	474
<i>Глава XIII.</i> Как Белый отряд отправился воевать	481
<i>Глава XIV.</i> Как сэр Найджел искал дорожных приключений	486
<i>Глава XV.</i> Как желтое рыбацкое судно отплыло из Липа	494
<i>Глава XVI.</i> Как желтый корабль сражался с двумя пиратскими галеасами	505
<i>Глава XVII.</i> Как желтый корабль прошел через риф Жиронды	512
<i>Глава XVIII.</i> Как сэр Найджел Лоринг посадил себе мушку на глаз	518
<i>Глава XIX.</i> Как спорили рыцари в аббатстве Святого Андрея	526
<i>Глава XX.</i> Как Аллейн завоевал себе место в почетном цехе	535
<i>Глава XXI.</i> Как Агостино Пизано рисковал головой	543
<i>Глава XXII.</i> Как лучники пировали в «Розе Гиени»	551
<i>Глава XXIII.</i> Как Англия сражалась на турнире в Бордо	556
<i>Глава XXIV.</i> Как с востока прибыл странствующий рыцарь	564
<i>Глава XXV.</i> Как сэр Найджел писал в замок Туинхэм	572
<i>Глава XXVI.</i> Как три друга нашли сокровище	577
<i>Глава XXVII.</i> Как колченогий Роже попал в рай	586
<i>Глава XXVIII.</i> Как друзья перешли границы Франции	594
<i>Глава XXIX.</i> Как наступил для леди Тифен благословенный час прозрения	604
<i>Глава XXX.</i> Как мужики из леса проникли в замок Вильфранш	612
<i>Глава XXXI.</i> Как пять человек удержали замок Вильфранш	620
<i>Глава XXXII.</i> Как отряд держал совет вокруг поваленного дерева	628
<i>Глава XXXIII.</i> Как армия совершила переход через Ронсеваль	633
<i>Глава XXXIV.</i> Как отряд развлекался в долине Памплоны	640
<i>Глава XXXV.</i> Как сэр Найджел охотился за орлом	648
<i>Глава XXXVI.</i> Как сэр Найджел снял мушку с глаза	658
<i>Глава XXXVII.</i> Как Белый отряд перестал существовать	668
<i>Глава XXXVIII.</i> Возвращение в Хампшир	677

ПОДВИГИ БРИГАДИРА ЖЕРАРА

Перевод Н. Тренивой, В. Хинкиса

Иллюстрации У. Уоллена

<i>I.</i> Как бригадир попал в Черный замок	687
<i>II.</i> Как бригадир перебил братьев из Аяччо	709
<i>III.</i> Как бригадиру достался король	731
<i>IV.</i> Как бригадир достался королю	756
<i>V.</i> Как бригадир померился силами с маршалом Одеколоном	778
<i>VI.</i> Как бригадир пытался выиграть Германию	802
<i>VII.</i> Как бригадир был награжден медалью	822
<i>VIII.</i> Как бригадира искушал дьявол	845

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРИГАДИРА ЖЕРАРА

*Перевод В. Хинкиса**Иллюстрации У. Уоллена и С. Пэйджета*

<i>I.</i> Как бригадир лишился уха	871
<i>II.</i> Как бригадир взял Сарагосу	893
<i>III.</i> Как бригадир убил лису	913
<i>IV.</i> Как бригадир спас армию	927
<i>V.</i> Как бригадир прославился в Лондоне	949
<i>VI.</i> Как бригадир побывал в Минске	967
<i>VII.</i> Как бригадир действовал при Ватерлоо	985
<i>VIII.</i> Последнее приключение бригадира	1022

ПРИЛОЖЕНИЕ

Женитьба бригадира (р а с к а з). <i>Перевод А. Ставиской,</i> <i>иллюстрации Г. Холидэя</i>	1039
---	------